

Валерий Михайловский



СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ

Валерий Михайловский

СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ

РАССКАЗЫ

Книга 2

Екатеринбург

Средне-Уральское книжное издательство

2005

ББК 84. Р7

М 69

*Отцу своему
Леониду Сергеевичу посвящаю
в честь 60-летия
Великой Победы.*

Художник Ю.А. Бычков

ISBN 5-7529-0773-X

© Михайловский В.Л., 2005

© Бычков Ю.А., ил., 2005

© Средне-Уральское книжное
издательство, 2005

Знаю Валерия давно. Мы из ранних северян — «старые северные бичи» (не путать с «бомжом», словом «бич» — бывший интеллигентный человек — зачастую называли себя в конце шестидесятых, начале семидесятых). Валерий, правда, подъехал чуть позже, но вписался в северную жизнь гармонично, и мне иногда кажется, что жил он здесь всегда. В те доисторические времена (многие теперь считают, что история России началась с баррикад августа 1991 года) люди ехали на Север, в основном, не за заработками, а по зову души, зачастую по комсомольским путевкам, за романтикой: «себя показать — других посмотреть», за многим другим, а кое-кто и от обиды на весь белый свет, от неизбывной тоски и безысходности. К деньгам относились подчеркнуто равнодушно, если не сказать с презрением. Потому и «бичи», так как ни образование, ни занимаемая должность, ни связи никаких особых дивидендов не приносили. В первую очередь ценились другие качества: смелость, решительность, где-то бесшабашность, крепкая мужская дружба, готовность броситься на выручку в трудный момент, бескорыстность. Ну и конечно, работа — умение сделать любое дело в любых условиях, сделать обязательно, даже через «не могу», иначе и тебе и всем, кто окружает тебя, будет неуютно, плохо.

Манили нетронутая северная природа, белые ночи, костры на рыбалке и охотах, манили необъятные просторы и непочатый край большой работы.

Так и познакомились мы, построив железную дорогу от Тюмени до Нижневартовска. Теперь вот остались обживать ставшие родными места.

Валерий работал главным врачом в железнодорожной поликлинике, которая обслуживала и наш поселок. Ну, в общем жили не тужили... Каждый занимался своим делом: я вначале проходил пешком, наматывая по зимникам сотни километров, соединял берега самых разных рек, давая продолжение железной дороге, а потом по построенной самим же «железке» гордо катил в отпуск на «большуху». Возвращался снова на Север, и бросала меня судьба (или начальство) куда-нибудь дальше.

Валерий лечил разные простуды, другие болячки мои и других северян. С одной стороны, народ северный вроде здоров и могуч: больные отсеивались быстро, но с другой — перифразируя известную поговорку — от «чумы и сумы» не зарекайся. Всякое бывало... Нелегко доставалось ему — не понаслышке знаю.

Потом Север стал таким, какой он сейчас. Я по-прежнему строю свои мосты, правда, масштабы уже не те и трудности теперь другого характера, да и Север здорово изменился.

А Валерий потосковал-потосковал по настоящему мужскому делу и круто изменил свою судьбу — стал писать книжки. Уж сколько я ему говорил: ну что тебе не сидится в своей поликлинике? Ты лучшую часть своей жизни истратил на то, чтобы можно было теперь жить спокойно — приходить на работу к восьми, уходить к пяти, как все люди. Зарплата теперь больше, чем двадцать пять лет назад, работать легче, есть квартира... По крайней мере — спокойную жизнь заслужил. Ну, что еще человеку нужно?

Ан нет, не хочет, подавай ему новую жизнь, новые трудности, новые лишения. Я для него даже сказку сочинил. Были

у отца три сына: первый был умный, второй так себе, а третий... — вообще... писатель. Не слушает: все пишет и пишет...

Ну, правда, пишет интересно. В рассказах его северная природа, любовь к жизни, к той жизни какая есть, без всяких прикрас, простые люди. А ведь о простых людях писать сложно. Что там вроде интересного в простой судьбе? Лично мне как раз такие люди нравятся, потому что я сам их встречал. Узнаю в рассказах Валерия любимую мною северную природу: тайга, гордые глухари, утренние и вечерние зори, река, озеро, крики гусей и шум их крыльев. Нравятся мне его северные люди: мудрые, спокойные, умеющие ждать и верить; покорные своей судьбе, но гордые и не сломленные, знающие себе цену.

Ну, в общем, Валера, так держать! Хотя, возвращаясь к давним нашим спорам-разговорам, хочу тебе сказать: вляпался ты, и крепко!

Писательский труд дело тяжелое. Это по-настоящему трудная мужская работа, тяжелая жизненная дорога, тернистый неизведанный путь. А может, именно по такому делу скупала твоя душа?

Успехов тебе на твоём пути!

*Н.А. Смехов,
начальник ТФ «Мостоотряд-95»,
заслуженный строитель РФ*

*Упало небо с облаками,
Земля взметнулась к небесам.
Я не могу взмахнуть крылами,
Тьма, свет смешались пополам.
Я видел: ты повел стволами.
Я видел вспышку, слышал взрыв,
Мы встретились с тобой глазами,
Я встретил дробь, глаза закрыв...*

I

Осень. На севере конец сентября — поздняя осень. Неделя-другая, и зима робко первым снегом начнет пробовать свои силы. Теплое дыхание осени еще переборет его, соскребут последние теплые лучи легкую кружевную паутину — и все. Только свет останется от солнца. Скупой свет, которого хватит на короткий, как заячий хвост, день. Тепло кончится. До весны. Сегодня с самого утра идет непрерывный, нудный дождь. Уже который день дождь начинается рано утром. Ночью он прекращает свое мокрое дело, уступая ночному холоду. Всеволод Сафронович уже не первый вечер замечал редкие кружащие снежинки. Гуляя с собакой, он рассматривал их на фоне уличных фонарей. Ночными бабочками они летели на огонь, кружили, словно жались к свету и теплу. Касаясь влажной сырой земли, исчезали тихо и незаметно. Летят и гаснут, летят и гаснут. Летят, летят первые снежинки. Витиеватый их полет хоть и тих и короток, но пророческим шепотом возвещает всем о приближающейся зиме. Ближе к ночи на небе появляются прорехи в ватном одеяле осенних

облаков, и звезды редкими снопами яркого бисера показываются одиноким прохожим. Круговерть снежинок прекращается, чтобы утром снова сыпать мелким дождем.

Всеволоду Сафроновичу такая погода по душе. Она располагает к раздумьям, заставляет не торопясь заняться делами, которые обычно откладываются на потом. Старательно укладывая в чехол свое старое ружье, он поглаживает стволы, стирает ладонью несуществующую пыль. Еще раз напоследок глядит через зеркальные стволы в окно. Поймав крупную каплю на стекле в кружок, проводил ее до самого подоконника. Подготовка к охоте, казалось, занимала его не меньше, чем сама охота. Заметил, что с годами научился получать удовольствие от чистки ружья. Раньше он этим занимался только потому, что нужно: ружье было старое, стволы не хромированные и требовали особого ухода. Иногда его это раздражало. Сегодня же он миллиметр за миллиметром протирал сухой вехоткой стволы, механизм, курки. Холодный металл грел его душу. Он смотрел на свою старую двустволку, как на родное существо, как на что-то от себя неотъемлемое. Всеволод Сафронович застегнул молнию чехла, погладил его рукой и поставил в угол, взял телефон и набрал номер.

— Привет, Сережа. Я готовлюсь. Ружьишко сегодня начал, блестит, как медный самовар. Как ты думаешь, сколько патронов брать?

— Я думаю, стрелять много не будем.

— Ну, полсотни хватит? Я завтра патронами заниматься буду. Все идет по плану. Послезавтра — продукты... Значит, говоришь, полсотни?

— Хватит, я тоже много не беру. Учти, Сафроныч, там глухарь водится, так что единичку зряди.

Неделю назад ему позвонил друг Сергей, пригласил на охоту. Сначала, однако, Сафроныч отказывался: работа, жена

собиралась на курорт и не с кем оставить собаку, намечается командировка...

— Сплошная зависимость от обстоятельств, — услышал он в телефонную трубку, — у меня тоже не легче, тоже думаю, как выкроить эти две недели.

Сергей еще что-то говорил, потом резко закончил:

— Ну, смотри сам. Я тебе предложил. Не поедешь, я поеду один, а если есть предложения по срокам, позвони. Думай, Сафроныч, думай.

Думал Сафроныч всю ночь. Работа, жена, командировка, собаку некому выгулять. Все это не то. Отпуск возьму, когда захочу, — своя рука владыка, командировку можно отложить, путевка у Людмилы только через месяц. Здоровьишко шалит. Сдрейфил, старик. Плечо ноет уже месяц. Вот и сейчас невозможно найти ему место. И так ноет, и так...

Сафроныч ворочался, укладывая правую руку. В темноте не видно, как боль искажает его лицо.

Сергей помоложе, ему-то что... Вот в чем соль! Диабет, что б ему...: то жрать нельзя, то нельзя, особая диета... Но хочется поехать. Может, не доведется больше в тайгу. Да и зовет его Сергей в свои места, где уже не был пятнадцать лет, о которых столько рассказывал интересного. Меня зовет. Значит, уверен во мне. Тряхнуть, что ли, стариной?

— Что с тобой? Тебе плохо? — спросила жена. Она заметила, что Всеволод Сафронович не спит, ворочается с боку на бок, уже дважды выходил на кухню.

— Мне хорошо, может, лучше, чем обычно. Вот Сергей зовет на охоту. И не знаю, что делать.

— Так езжай, — спокойно сказала Людмила, — развеешься.

— На две недели. Это триста километров отсюда. Добираться от Покачей на моторке полдня.

Как и любая женщина, Людмила плохо понимала, как можно две недели жить в тайге. Ее пугало расстояние. На моторке добираться.... Тайга для нее населена страшными зверями, таит опасности на каждом шагу. Но она привыкла за долгие годы собирать мужа на охоту, ждать его, потом слушать его удивительные рассказы.

— Ну, решай сам, мне в Белокуриху через месяц, успеешь вернуться.

— Ты не представляешь, как мне хочется поехать. Может, это моя последняя охота здесь, на Севере.

— Тем более.

Подлубные собрались переезжать на Большую землю. Недавно вслед за отцом умерла старенькая мама Сафроныча, и они решили поселиться в родительском доме на родине. Дети уже взрослые, обосновались в Тюмени, а им хочется туда, где покоятся предки, где до сих пор слышатся детские голоса их сверстников. Сафроныч в последнее время часто вспоминал свое послевоенное детство. По его земле война прокатилась тяжелым металлическим катком. Много железа осталось в земле. Еще долго после отсалютовавших победных залпов слышались взрывы. В глазах ожила картина того страшного дня, когда ребята, его соседи, друзья, нашли немецкую мину. Двое погибли, один всю жизнь на костылях. Он же единственный отделался «мелкими царапинами». Отлежался в военном госпитале месяц, вытащили осколок, зашили брюхо — и будь здоров. Так и сказал военный хирург полковник Василенко: «Ну, будь здоров. Теперь ты знаешь что к чему — стреляный». Скольким пацанам потом жизни спас. Если не хватало аргументов, задира л сорочку. Страшные рубцы впечатляли неразумных.

Сафроныч нащупал ногами тапочки, погладил рукой рубец на округлившемся животе, тяжело поднялся и пошел на

кухню; расстегнул чехол, вытащил ружье, собрал отработанными до автоматизма движениями, погладил его и, вскинув, направил в окно. На мушку попалась заблудшая снежинка. Расплываясь, она превращается в куропатку. И вот он стреляет, она медленно планирует вниз.... Боль в плече не беспокоит. «Вот тебе и на! То шевельнуть больно, а то ружье держу на весу, и хоть бы что». Он снова собирает ружье, зачехляет и, улыбаясь, ковыляет в спальню. Теперь он засыпает быстро и спит до утра.

II

Позади длинные километры на машине, затем на большой, похожей на катер моторной лодке до стойбища хантов.

— Кузьма Михайлович, это твоя дача, что ли, получается: живешь в городе, а сюда приезжаешь отдыхать, рыбачить? — спросил Сафроныч, радуясь, что наконец-то может размять затекшие ноги. Он впервые оказался на стойбище ханты, а ведь прожил на Севере без малого двадцать лет.

— По-вашему, вроде дача, — отвечал Кузьма Михайлович, открывая домик. — Я здесь родился, здесь вырос, здесь умерли мои родители, мой дед. И сам я хочу здесь свой век дожить. Мне тесно в поселке, воздуху там не хватает... Так что сам посуди. Дача... Называй меня Кузьмой. По-нашему, не обязательно тревожить давно умерших родителей, поминая их имена попусту. Это на работе меня называют по отчеству: там так принято. А здесь они близко, когда нужно, я сам их поминаю.

Игорек, младший сын Кузьмы, уже носился вдоль высокого берега, заполняя собой все пространство. Два часа в лодке без движения его утомили. Он даже вздремнул по дороге.

Мальчик уже нашел маленького соседского щенка и таскал, схватив его за шиворот. Щенок молчал. Игорек поставил щенка на землю, тот замахал хвостом и, отскочив на пару шагов, развернувшись, залаял на мальчика. Игорек с визгом и хохотом помчался вниз к речке, щенок за ним. Скучная жизнь щенка преобразилась с появлением этого мальчугана и приобрела новые краски. Он лаял до хрипоты, Игорек визжал от восторга. Вот они кубарем катаются в песке. Теперь уже щенок треплет мальчика за шиворот, а тот свернулся калачиком, и его хохот летит по реке, отзываясь эхом от противоположного берега.

Сафроныч наблюдал за ними, улыбался, вытирая вспотевшую лысину. Мужчины втроем — Кузьма, Сафроныч и Сергей — перетаскивали вещи из лодки в домик. Подъехал на другой лодке старший сын Кузьмы. Он только демобилизовался и наслаждался свободной жизнью. Павел привез бочку бензина. По дороге его застал дождь. Он, мокрый и озябший, бросив швартовочную веревку, быстро посеменил к избе. Кузьма ловко привязал лодку к трапу, по которому жители стойбища поднимались на крутой берег.

— Вам хорошо, здесь дождя нет, а там... — Павел на ходу махнул рукой назад.

— Завтра погода солнечная будет, — Сергей смотрел на посветлевшее на западе небо.

— Не говори так, — испугаешь. Какая будет, такая и будет. Вот на этой лодке дальше поедете сами. Паша мотор сделал нормально — не подведет. В этом году вода большая, так что по Елке подниметесь до самого места, — Кузьма деловито посмотрел на бочку, окинул взглядом крутой берег. «Пьяным ванькой», однако, придется поднимать: так не вытащить.

— Чем поднимать? — Сафроныч подумал, что ослышался.

— «Пьяным ванькой», — повторил уже Сергей.

Кузьма с Сергеем выкопали на высоком берегу яму, поставили в нее вертикально специально приспособленное бревно — «ваньку». К вершине его петлей прикрепили веревку и двумя концами привязали к вбитым колам: веревки не дадут «ваньке» упасть. Кузьма ловким движением накинул петлю на бочку с бензином. Один конец ее подтащил к «ваньке». В петлю на конце веревки он вставил длинный шест и, двигаясь по кругу, стал наматывать веревку на толстое бревно. «Ванька», пошатываясь и поскрипывая, натягивал веревку, и вот уже бочка поползла вверх. Сафронычу и Сергею оставалось только следить — не слетела бы петля.

Весь вечер Игорек не отходил от Сафроныча.

— Деда, а почему у тебя волосы белые вот тут? — он щипал его за седую щетину, за баки.

— А почему у тебя тут волос нету? — и Игорек хлопал гостя по красной лысине.

— Деда, а у тебя маленькие дети есть?

— Деда, а покажи ружье.

Сафроныч полулежал на оленьей шкуре. Его разморило тепло от печки, усталость разливалась приятной тяжестью. Он громко швыркал чай, отставляя горячую кружку подальше от непоседливого малыша, терпеливо отвечал на вопросы, рассказывал про своих внуков. Малыш не отходил от него весь вечер. То он выбегал в коридор и приносил игрушки, сделанные руками отца: деревянные «Буран» и лодку. Заставлял его загадывать загадки, сам загадывал и сам же отгадывал, громко хохоча. Потом Игорек приволок сказки и заставил его читать. Сафроныч раскрыл потрепанную книжку, надел очки и начал читать сначала выразительно, подражая разным голосам сказочных героев, потом голос его стал монотонным, а еще через какое-то время старый и

малый в обнимку спали на оленьих шкурах и каждому снился свой сон.

Игорек летал вместе с богатырем через леса и реки, сражался с чудовищем, обнимал спасенную сестричку. То он уже рулит на своей огромной деревянной лодке, увозя сестру домой, к маме. На берегу его встречает шенок, но он почему-то больше его. Они кувыркаются в песке, и пес лижет ему лицо огромным языком....

Сафроныча сон унес в его послевоенное детство, на зеленый луг, что сразу за родительским огородом. Разноцветная радуга огромным коромыслом выгнулась над прудом. Он хочет добежать до радуги, схватить ее руками, а она словно играет с ним: то прячется, то удаляется, появляясь, все дальше и дальше. Рядом по зеленой траве босиком несется Игорек, громко хохочет, тоже тянет руки к радуге. Бесконечный зеленый луг, радуга и Игорек, вихрем уносящийся вперед, а он все отстает и отстает....

Дуся, жена Кузьмича, укрыла сына и Всеволода Сафроновича одним одеялом, поцеловала мальчика, пригладила вспотевшие волосы.

— Пусть спит с дедом. Своего-то нет.

— Слушает деда, уважает. Никого так не слушает, — тихо говорит Кузьма.

III

К утру в избе похолодало. Сергей проснулся, вышел на улицу. Под ногами хрустнула корочка льда. Небо вызвездилось. Избы, отбрасывая длинные тени от полной луны, стоят понуро. Вдоль реки до самого поворота тянется серебряная дорожка. Сосны в лунном безмолвии выстроились на задах, тихо

дремая. Ни одна хвоинка не шевельнется на их посеребренных лапах. На востоке небо еле заметно посветлело. «Хорошо, — подумал Сергей, — вышла вся влага дождями, быть хорошей погоде». Он взял в сених несколько поленьев, зашел в избу, затопил печку, поставил чайник и, пока разгорался огонь, мысленно пробежал предстоящий маршрут. Пятнадцать лет не бывал на Елке. Как там? Раньше богатые дичью были места. Глухари, косачи летали стаями, рябчики вдоль речушки высвистывали свои песни, выдры, ондатры резали водную гладь многочисленных стариц и омутов. Белку в этих местах ханты промыслили, ягоду бруснику по гривам собирали. Летние олени пастбища радовали глаз бесконечным беломошным ковром. Еще остался на болоте за озерами летний «олений дом» — убежище от комаров и гнуса; почерневший остов чума стоит, упираясь жердями в низкие облака. Здесь паслись олени деда Кузьмы Павла Ивановича, нагуливали жир за короткое лето. Кузьма каждое лето жил в этом чуме с дедом, слушая его сказки и длинные, как летний день, песни.

Тихо поднялся Кузьма, сел на полати.

— Ты бы чаще приезжал, мы бы все в тепле спали. Что, мерзнешь? — Кузьма всегда подтрунивал над другом, когда тот не выдерживал холода и растапливал печку. Сам он, наоборот, любил утреннюю прохладу — крепче спится.

— Не то чтобы мерзну, просто не спится. Думаю: дойдем на моторе до конца или нет? Да и как там?

— Дойдете, вода нынче большая. Андрей давеча поднимался по Елке до самого нефтепровода. Только вот намаешься ты с дедом: с ним много не походишь.

— А я много бегать не собираюсь, старею тоже, — Сергей погладил живот.

— Да, с таким рюкзачком тяжело ходить. Пули взял? Там лохматый ходит. Он у Ленчика в июне двух оленей задрал,

так что, если встретишь... он теперь нам враг. Сейчас он тихий — ягоду кушает и греется на солнышке целыми днями. Не нападет. Да ты и сам все знаешь, что я тебя учу. Деда с собой в ту сторону не бери, ему с хозяином встречаться ни к чему. Я его спрашивал, он на него ни разу не охотился.

— Что ж вы с Ленчиком не прикормили косолапого, не наказали за такие пакости?

— Прикармливали, лабаз сделали. Сколько дежурили, — не приходит, а как день-другой не придем — он уж и побывал. Чует все хитрец: старый, опытный. Человеческие хитрости научился разгадывать. У него на правой передней лапе пальца одного не хватает, ученый, видать. Это тот, что водителя «ГТТэшки» поломал. Помнишь, я тебе рассказывал?

— Помню. Живой он хоть остался?

— Живой, только сильно покалеченный. Не работает сейчас.

Проснулась Дуся. Она принесла с улицы крупную щуку (Кузьма вчера успел проверить сетки), разделала ее, ловко орудуя ножом, специально сделанным Кузьмой. Она не очистила чешую принятым способом, а подрезала ее острым ножом, после чего щука стала необычно белой. Голову, хвост щуки и окуней сложила в кастрюлю, поставила на печку и стала чистить картошку для ухи. Скоро и на столе воцарился порядок после вчерашнего позднего ужина. Все получалось у нее споро. Сергей только потом заметил, что на столе уже чисто, уха кипит, падаушка румянится у раскрасневшейся печки, чайники поют. Никакой суеты, никаких лишних слов.

— Чай вырра, — тихо сказала Дуся Кузьме по-хантыйски.

Тот неспешно поднялся, взял с полки заварку, высыпал в маленький чайник, отставил в сторону. Начинался новый день.

Сафронычу надоело лежать. Он чувствовал себя отдохнувшим. Это было то редкое теперь утро, когда ничего особо не

беспокоило. Так, немного ноет плечо, но ведь вчера поработал.

— Как спалось, деда? — спросил, улыбаясь, Сергей.

— Как дома побывал. Как там погода? Кто-то солнышко обещал, — Сафроныч посмотрел на Сергея.

— Обещал — будет.

— Заморозок сегодня, так что погода хорошая и сегодня, и завтра будет, вам повезло, — подхватил Кузьма.

На пороге Сафроныч поскользнулся, чуть не потерял равновесие, но удержался, прислонившись к открытой двери. Еще вечером моросил дождик, капало с крыши, а сейчас мокрый порог обледел, выдыхаемый воздух клубился густым паром. Выкатывалось оранжевое солнце, быстро вытесняя сумерки и заполняя все пространство золотом света. Откуда-то издалека доносился разноголосый перелив гусяного крика. Высоко в синеве утреннего неба тянулись неровными клиньями на юг. Гуси перестраивались на ходу: из двух ключей образовалось три, затем третий ключ начал вытягиваться в одну линию, образовав длинное плечо заднего клина. Неопытная еще молодежь ломала ровные линии. Вот парадругая резко провалилась вниз, за ними тут же спланировали опытные, сильные птицы, помогли подняться, выстроиться в ряд. Сафроныч даже различал крики о помощи, затем тревожные трубные голоса кинувшихся на подмогу. Потом прозвучала команда, и вожака сменил другой, чтобы прокладывать дальше путь, прорезая плотный воздух крепкой грудью. Сколько раз сменятся они за длинную дорогу, сколько раз замыкающие поднимут ослабевших птиц, поддержат в пути. «Пока летают гуси-лебеди, человеку есть у кого поучиться добру, заботе, нежности и любви», — подумал старый охотник. Гуси уже пролетели над стойбищем, и Сафроныч, провожая их взглядом, поймал себя на мысли, что даже не вспом-

нил про ружье. Глаза стали влажными то ли от напряжения, то ли от переполнявших его чувств.

Утренние сборы были недолгими: все приготовлено с вечера. Осталось только перенести упакованные мешки в лодку, завести мотор и, как говорится, «помахать ручкой».

Кузьма, понаблюдав, как покряхтывает дед, подошел к Сергею:

— Намаешься ты с дедом — старый.

— Не беспокойся, все будет хорошо, не такой он и старый. Вот будет тебе шестьдесят, тогда узнаешь, что не все еще потеряно.

— На озера пойдешь к Ленчику, его с собой не бери, — снова напомнил Кузьма, — шибко далеко, умаешь деда.

IV

Мотор действительно работал ровно и надежно, лодка бежала резво, оставляя за собой вздыбленную струю. Берега летели назад, и волна, поднимаемая мотором, облизывала песчаные отмели с одной стороны, упруго ударяла в отвесный обрыв противоположного берега. Гривы сменялись болотами, мелькали старицы то с одной, то с другой стороны. Поднимались вспугнутые утки и, стремительно набирая высоту, скрывались за вершинами безмолвных стройных сосен.

— Далеко еще? — перекрикивая мотор, спрашивал нетерпеливо Сафронич.

— Два поворота до устья Елки, а там как получится, — Сергей перенял привычку у Кузьмы измерять расстояния по реке «поворотами».

Сафронич не успел заметить, когда свернули в узкую речушку. Это случилось внезапно: берега просто сомкнулись,

и река стала узкой и извилистой. Сначала он раскрыл рот от восторга, еле успевая прятать голову от нависших деревьев. Речка, чуть шире лодки, изгибалась серпантином, прорезая болота и гривы. Виртуозно управляя мотором, Сергей закладывал очередной вираж. Лодка резко накренилась то в одну, то в другую сторону. Перед глазами мельтешило. Старый охотник вертел головой до хруста в шее. Теперь он ловил себя на том, что уже думает об обратной дороге, как о чем-то несбыточном. Мельком ему удавалось взглянуть в напряженное лицо Сергея, но заговорить с ним не было никакой возможности. Оставалось полагаться на волю случая. Судьба на этот раз была к охотникам благосклонна. Добрались до места почти без остановок. Только два раза пришлось расчищать завалы ножовкой и топором. Вытаскивая бревна на берег, Сафроныч, казалось, отдыхал и с тяжелым сердцем снова садился в лодку.

V

Палатку установили в красивом сосновом бору, в месте, защищенном высокой гривой с севера.

— В это время преобладают северные ветра, — пояснил Сергей.

— Я на тебя надеюсь, у тебя опыт больше, — старый охотник остался доволен выбором Сергея: позади палатки высокая грива, справа начинался позолоченный березнячок, спереди речка, а слева красивый ковер светло-зеленого ягеля. — Этот клочок ягеля я объявляю заповедной зоной. Хождение через эту поляну запрещено, — торжественным тоном изрек Сафроныч, очерчивая круг рукой.

— Предложение принято, — в тон ему ответил Сергей.

Разбив лагерь, поставили сетку в живописной старице, прошлись по песку вдоль нефтепровода.

— Смотри, Сева, следы глухаря.

— Вижу, вижу, — сердце Сафроныча забилося от волнения. На глухарей не охотился уже добрый десяток лет.

— Рядом с палаткой. Вот тебе по утрам место для дежурства. А я завтра пойду в ту сторону, — Сергей махнул на север. — Там озеро огромное есть, хочу гусей посмотреть. До озера далеко, тебе тяжело будет идти. Только ты не обижайся, — добавил Сергей, перехватив укоризненный взгляд друга.

— Я и не обижаюсь. Я ведь не спал утром и слышал, что сказал Кузьма. Я все понимаю. Самое обидное в этом то, что он прав. А что это за история с медведем, что поломал какого-то водителя?

— Это было несколько лет назад, когда строили нефтепровод, когда нефтяники бесконтрольно охотились, выбивая все живое. Вахтовикам жалеть местную природу ни к чему: они и их дети живут за тысячи верст отсюда.

Друзья шли медленным шагом, и Сергей рассказал Сафронычу историю, которая запомнилась ему своей логичностью и невероятностью.

— Особенно отличались водители вездеходов. Техника под рукой, круглые сутки в их распоряжении. Не один раз Кузьма встречал их в тайге, выписывающих по ягельникам на «газушках». По полсотни глухарей, косачей набивали они за один выезд. Птица технику не боится, особенно весной и осенью. Подъезжай и бей: просто... много ума не надо. На замечания они в лучшем случае отшучивались: мол, птицы много, всем хватит.

«Все кончается, все имеет конец, — говорил им Кузьма, — природа вам отомстит. Наши боги не любят жадных». — «Ты что, пугаешь нас?» — спрашивал водитель «газушки». «Нет,

зачем пугать, сам посмотришь, Бог есть», — коротко отвечал Кузьма. Настреляют они птицы, приедут в свои вагончики, приготовят пару глухарей, закусят. Еще пару-другую на водку сменяют. А остальных куда девать? Выбрасывают на помойку рядом с туалетом. Потом снова стреляют. Ну и привлекли они внимание мишки протухшей птицей. По весне медведь ищет, где бы полакомится чем-нибудь. Бывает, оленя-другого завалит, а тут... Несколько дней ходил медведь вокруг вагончиков, боясь приблизиться. Отпугивали запахи солярки, дыма, но голод не тетка. Потрошил он как-то птицу, а в это время тот водитель по нужде пошел и попал прямо в лапы мишке. «Вот и думай, — говорил Кузьма, — наказал за жадность». — Сергей замолчал, посмотрел на север, куда собирался завтра.

— И это тот медведь, что задрал нынче оленей у Ленчика?

— Так ты и это слышал?

— Ну, не глухой же я, говорю, что не спал.

— Да, это он. Кузьма его отличает по следу: у него одного пальца не хватает на правой передней лапе. Он и раньше пакостил: у Димки прошлым летом пятерых оленей задрал.

— Ты там смотри — поосторожнее.

VI

Наутро Сергей ушел рано. Сафроныч не спеша пил чай и смотрел на заповедный клочок ягеля. Ствол давно упавшей сосны порос ярко-зеленым мхом и брусничником, разделяя поляну на две равные части. Брусника, налившаяся за короткое и скупое на солнце северное лето, склонила свои рубиновые гроздья. Старому охотнику захотелось подойти и сорвать ягоды, но он вспомнил о запрете, им же наложенном, и улыбнулся. По-стариковски покряхтывая, он медленно

встал, закинул на плечо ружье. Через неширокую речушку перешел по огромному стволу старого кедра, балансируя ружьем. Поднимаясь на высокий берег, он внезапно увидел глухаря, вышагивающего по белесому песку. Сафроныч прижался к земле и замер. Приподнявшись над травой, он долго наблюдал, как огромная птица, высматривая камешки, смешно, по-куриному вертела головой. Время от времени, вытягивая шею, глухарь проглатывал очередной камешек, подставляя свою бороду легкому ветерку, и настороженно оглядывался по сторонам. Вороное перо на крутой груди и шее отливало зеленью в косых лучах восходящего солнца.

«Старый глухарь, — подумал охотник, — встретились два старика. Встретились две осени».

Вдруг глухарь остановился и повернул бородатую голову в его сторону. Показалось, что он заметил охотника. Сафронычу даже почудилось, что они встретились глазами и смотрят друг на друга. Глухарь настороженно вытянулся, быстро разбежался и мощными взмахами могучих крыльев разрезал осенний воздух. Сафроныч провожал взглядом его полет над речкой, любясь силой и стремительностью птицы. Только теперь он вспомнил про свою двустволку. Он не жалел, что не стрелял. Напротив, в груди потеплело, глаза заволокла слеза, резкости не стало, и Сафроныч потерял глухаря из виду. Только на высоком берегу старый охотник начал различать окружающее. Он сел на поваленное дерево, протер глаза и огляделся вокруг. Ярко-желтые березки, вбирая утреннее солнце, отражались в ровной глади спокойной заводи. Запутавшаяся в выставленной вчера сети щука, распространяя круги, морщила отражение. Очень высоко над головой огромными ключами тянули гуси в сторону полуденного солнца. Вот он, тот душевный покой, вот то равновесие, те минуты блаженства и тихой радости, что приходят в последнее время так редко. Сафроныч притащил несколько су-

хих хлыстов, постелил на них плащ, удобно улегся и тут же уснул. Сон его был спокоен и легок. Ему ничего не снилось, он словно провалился в бездну, в небытие.

Сергей вернулся поздно. Видно, что ходил много: вспотевший, с осунувшимся лицом, он жадно пил чай, ел приготовленную другом падаушку и рассказывал о своих впечатлениях.

— Хотел на озера пройти. Там гусь по осени останавливается, но сил не хватило. По весне туда ходил, но то по насту, а теперь... Ноги по колени тонут. След мишки нашел. Тот самый. Старый след, нет его здесь. Он уже ближе к своей берлоге держится на высоких местах. Глухаря испугнул... А у тебя как? Видел что-нибудь?

— Гуси высоко пролетали, сети проверил: три шуки поймались.

Всеволод Сафронович зачем-то стал шевелить головешки в костре. Ему сейчас не хотелось говорить об утренней встрече. Костер сначала сыпанул искрами в темнеющее небо, затем вспыхнул с новой силой. Друзья смотрели на огонь молча. Короткий осенний день заканчивался, в темном небе с севера беспрерывно наплывали низкие тучи.

VII

Утренняя прохлада выгнала охотников из спальных мешков. Развели огонь приготовленным про запас смолем и, пританцовывая, грелись, вытягивая руки к костру. Костер разгорался нехотя, дым крутило, и невозможно было найти удобного места. Чайник скрипуче попискивал, указывая на изменение погоды. За ночь ягель присыпало снежком. Все вокруг преобразилось: ивняк контрастно выделялся на темном фоне противоположного берега заиндевелыми ветками,

тонкие плети берез согнулись под тяжестью снега, налипшего на желтых листьях, зеленый мох поседел. Даже гроздья брусники прикрылись белым пухом.

Сафроныч, проводив друга взглядом вдоль золотистого березняка, налил в кружку чаю. Он верил в приметы и делал все, как вчера утром. Поллюбовался «заповедником», прибрался на импровизированном столе, вымыл кружки, побряхтывая, встал, забросил ружье на левое плечо, как вчера. Через реку перебирался осторожно, скользя сапогами по заиндевело-му стволу, как и накануне балансируя ружьем. Так же неожиданно, как и вчера, появился глухарь. Он топтался на том же месте, высматривая блестящие камешки. Снег на песке лежал пятнами, и старый охотник наблюдал, как эта важная птица, бегом пробежав по снегу, останавливалась на песке и внимательно шаг за шагом всматривалась себе под ноги, затем снова бегом через снег. Глухарь то ходил кругами, то уходил вверх по прямой, затем снова возвращался. На облюбованное место — небольшой бугорок над речкой он возвращался уже третий раз. Ружье лежало на коленях. Сафроныч привычно левой рукой смахнул песок с планки прицела, но вскидывать ружье не спешил. Сердце работало ритмично и спокойно, как на диване у телевизора; им не владел тот азарт, что заставляет охотника бежать без устали по следу, стрелять влет или по бегущему зверю, когда силы удваиваются, когда ничего не замечается вокруг — только цель. Старый глухарь, вдоволь набегавшись, спокойно и важно вышагивая, направился в сосновый бор и больше на пески не вышел. Сафроныч внутренне обрадовался этому обстоятельству, встал и побрел вдоль реки.

За поворотом берег становился ниже, и густые заросли черемухи давали надежду на то, что здесь водятся рябчики. На манок тут же ответили сразу две птицы, тщательно выводя коленца своей песни. Едва ступив в заросли, он вспугнул до-

верчивых рябков. Рябчики вспорхнули и, едва поднявшись в рост человека, уселись на изогнутую луком черемушную стволину. Два серых комочка, две незащищенные души. Казалось, их мало волновало присутствие человека. Замерло сердце охотника. Он остановился, прислонился к сухаре. Слившись воедино с древним замшелым стволом, почувствовал, как потеплело в груди. До его обостренного слуха донеслось легкое шуршание: самец пробежал по мерзлой стволине, мелко перебирая лапками. Он поворачивал чубатую голову в сторону своей подружки, приглашая полакомиться черной черемухой, что нависала неполными гроздьями. Сафроныч смотрел спокойно, едва улыбаясь той, как он считал, глуповатой улыбкой, что иногда ложилась на его уста в минуты умиления. Правая рука самопроизвольно гладила стволы старой двустволки. Петушок потоптался на месте, теряя терпение, вытянул шею и затянул свою песню — тонкую и тягучую. Где-то в стороне ему ответила курочка. Подружка, почуяв неладное, тут же поспешила принять приглашение кавалера: короткий перелет — и она уже рядом.

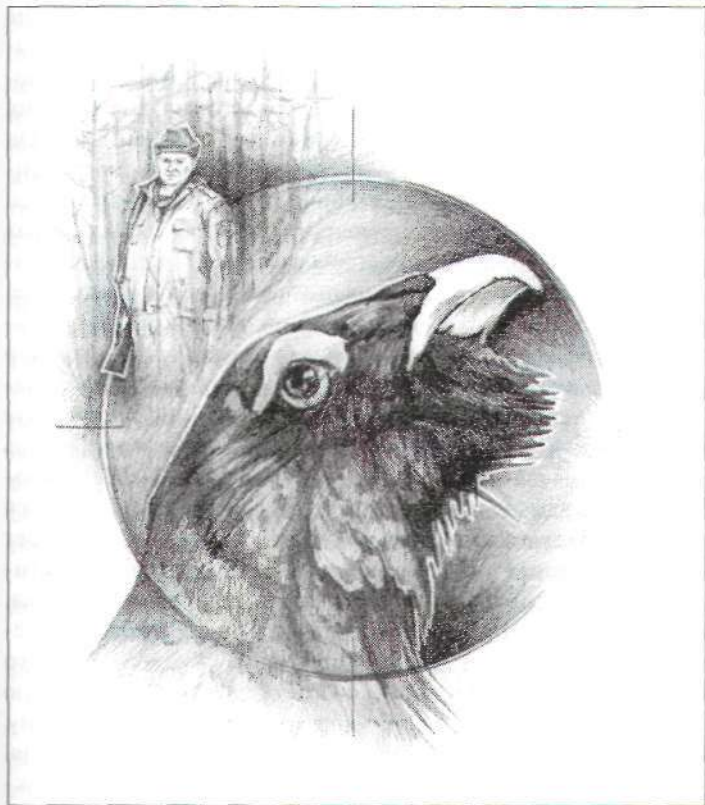
— Так-то вот лучше, испугалась соперницу? — Сафроныч оттолкнулся от лесины и побрел в сторону палатки.

Сегодня Сергей вернулся еще позже: уже потемну принес косача.

— Утром в твою сторону вместе пойдем. На старицу. Там утки должны быть, — сказал Сергей.

Сафроныч заволновался. Он по-прежнему ничего не говорил про свои утренние встречи. Завтра все решится.

Ночью сон не шел. Глаза таращились в пустоту. Темнота была осязаемой, имела густоту, и Сафронычу казалось: протяни он руку, сможет ее сжать в кулак, разогнать одним взмахом. Глаза, что открытые, что закрытые, вязли в этой тягучей темноте осенней прохладной ночи. Будто огромная птица



накрыла черными крыльями все вокруг, и свет исчез навсегда. Воздуху не хватало. Сафроныч на ощупь достал из кармана рюкзака валидол...

Старый охотник проснулся рано, до рассвета. Тихонько выполз из палатки, быстро развел костер, вскипятил чай. Пил

долго, неотрывно смотрел на огонь и, казалось, ни о чем не думал. Потом резко встал, бросил на левое плечо ружье и быстрым шагом направился к берегу. Через речку перешел ровным шагом, ни разу не пошатнувшись. Глухаря еще не было. Сафроныч удобно устроился в своей скрадке и стал ждать. Он ни на минуту не сомневался, что глухарь появится. Напряженно всматриваясь в сереющие вершины сосен и кедров, он ждал. Любой звук вызывал сердцебиение. Ружье лежало в сильных руках как литое, как продолжение самого охотника, как единое с ним целое. Серое небо, серый песок, серая вода в реке. Нет красок, нет звуков. Тишина. О такой тишине говорят — гробовая. Что за глухие удары? Бух, бух, бух! Сафроныч потер виски руками, потом лицо, оно обдало жаром прохладные ладони. Еще секунду назад на сосне никого не было. Силуэт глухаря ясно вырисовывался на самом высоком дереве. Глухарь наклонял голову, щипая хвою. Далеко. Ждать. Ждать Сафроныч умел. Сколько раз он сидел часами в скрадках на утку, гуся да и на глухаря. Он знал его повадки, знал, что тот поклюет хвой и обязательно сядет на песок. Словно гипнотизируя птицу, охотник не сводил с нее глаз. Вот она, расправив крылья, планирует вниз. Глухарь приземлился на свой любимый песчаный холмик и огляделся по сторонам. Он заметил своего старого знакомого, он глянул своим острым глазом в черную бездну стволов, затем черные провалы сместились в сторону, и в то же мгновение из них вырвался ярко-красный сноп огня. Крылья мгновенно сами обняли воздух, крепкие ноги оттолкнули твердь земли. Внизу потянулась синяя лента знакомого до каждой заводинки ручья.

Необычно громкий выстрел оглушил Сафроныча. Вода в тихом омуте взбрыкнулась кучным снопом. Круги быстро поглотились еле заметным водоворотом. Далеко за поворотом, поднимаясь выше кедров, стремительно набирал ско-

рость глухарь. Сердце колотило своими тугими мышечными стенками по реберной решетке, которая уже шестьдесят лет держала его в своем плену. Звуки его биения торопливым бубном разносились по сосновому бору, доходили до стены темного кедрача на том берегу; эхо разносилось по речке, отражаясь мелкой зыбью от стоячей воды темного омута. Запах тайги, речки, серого неба сгустился, сконцентрировался в одну неприятную болотную вонь.

Сафроныч лежал на влажном песке, прижавшись небритым лицом к сырой кочке. Перед самым носом росла осока. Шурша своими жесткими листьями, она цеплялась мельчайшими щетинками за нос, щеку, подбородок. Шевелиться не хотелось. В ушах еще звенел выстрел. Он повернулся на спину и долго смотрел на появляющиеся в сером небе прорехи. С востока наплывала чистая голубизна, редко помеченная белыми, быстро плывущими облаками. Переменчивая осень меняла серое покрывало на яркий пятнистый наряд. словно радуясь таким переменам, враз взорвалось птичье многоголосье.

— Ты стрелял или мне приснилось? — Сергей еще не выходил из палатки.

— Стрелял. Глухаря стрелял... промазал, — в голосе Сафроныча не чувствовалось досады.

— Что так весело?

— Потому что действительно хорошо, черт возьми, — и он рассказал Сергею про свои утренние встречи и как отвел стволы в последний момент.

Сергей смотрел на своего друга, увлеченно размахивавшего руками, видел его радостное лицо, повлажневшие глаза и улыбался.

— Я ведь вчера тоже капалуху встретил — не стал стрелять. Лезет, дура, прямо на стволы. Дважды ее встречал. Тебе стеснялся рассказать.

Шестидесятилетний юбилей Всеволода Сафроновича праздновали в ноябре. Собралось много народу, и юбиляр взахлеб рассказывал о недавней охоте, показывал снимки, восторженно живописал красоты тамошних мест, говорил о необыкновенно вкусном чае, заправленном ветками местной смородины, о заповедном уголке у палатки. Гордился, что выдержал испытания холодом, вынес немалые нагрузки. Гости слушали его рассказ, переспрашивали названия рек, уточняли, как готовится падаушка. Юбиляр был, как говорится, на коне. Женщины тепло смотрели на Людмилу. Мужчины, естественно, по-доброму завидовали имениннику. Еще бы!

На стене висело ружье, обклеенное прямо по обоям фотографиями недавней охоты. Сафроныч тыкал пальцем в осенние пейзажи, щурил хорошие глаза, по-детски улыбаясь во все свое круглое лицо. Сергей смотрел на расчехленное ружье, на счастливые глаза своего друга и все понимал. Он хорошо знал его.

— Ружье почему не в сейфе? Нарушаем, — игриво спросил он, улучшив момент.

— Это уже не ружье — исторический экспонат. Я бойки вытащил. Все! Оно свое отстреляло.

— Самый удачный выстрел был последним?

— Да!

— За твою золотую юбилейную осень!

Веселый перезвон бокалов перерастал в птичий перелив над Елкой, в шелест осенней листвы. Из этого многоголосья явственно выделялись резкие хлопки могучих крыльев ЕГО глухаря.

Здравствуй, отец! Так и не сбылась твоя мечта еще раз ступить на Сибирскую землю, увидеть это знакомое тебе низкое небо, окинуть взором необъятные просторы, почувствовать через много лет эту широту пространства и мощь северной природы. Однажды ощутив крепкие объятия этого привабливого, вольного и щедрого на богатства края, ты через всю жизнь пронес особое неповторимое ощущение величия своей страны.

Вместе с инструментальным заводом ты, детдомовец, эвакуировался в Новосибирск. Это, по здешним меркам, рядом, вот в той стороне вверх по Оби. Сутки на «Ракете». Отсюда эшелонами шли на фронт снаряды и патроны, пушки и зенитки. Потом на фронте, получив ящик с боеприпасами, ты непременно всматривался в номер завода и, если попадался знакомый, приговаривал: «Сибирское угощение» — и гладил каждый снаряд, прежде чем послать его в ствол сорокапятки.

Отсюда Сибирь провожала тебя на фронт. Твои друзья по цеху, как и ты, записались добровольцами, поэтому провожать вас никто не пришел. Каждый доброволец ставил на алтарь Победы свою жизнь добровольно.

И здесь нет пафоса.

Так было.

Я это помню генетически.

Для меня и сейчас «доброволец» — не просто слово.

Оно имеет лицо.

Твое лицо.

Лицо миллионов таких же, как ты.

Завтра 9 Мая. Открылась весенняя охота. Я сижу в скрад-ке. Еще днем приметил это место на мысу. Обзор — что влево, что вправо.... Меж густых кустов раkitника выстелил прошлогодним сеном место вроде гнезда. Делал на двоих. Друг со мной собирался — сосед по даче. Но он отказался. Телевизор смотреть будет: сериал какой-то. «Телевизор на даче штука вредная», — раздосадовался я поначалу.

Вот мы с тобой и беседуем. Тишина здесь. Ветер к вечеру утих, солнце спряталось за тучи, сгустившиеся на западе слоистым пирогом. Стало смеркаться, но дни здесь в мае длинные, сумерки еще долго будут тянуться серой сыростью и прохладой, так что вся охота впереди. Скоро лет утки начнется. Я тут слева на отмели чучела поставил — гоголей в весенней раскраске. Вон, как белыми пятнами красуются. Тихо. Не шелохнутся.

Сейчас, погоди, огурчик разрежу пополам. Стопки поставить нужно, чтобы не мешали....

Ружье должно быть под рукой. Лишние движения в скрад-ке делать не полагается. Вот так! Теперь нормально. Удобно вскидывать. Так. Влево, вправо. Все пространство простреливается. Отлично....

Да! Где-то в белорусских лесах ты так же придирчиво и осторожно, боясь нарушить тишину, готовил себе огневую позицию и так же через мушку автомата просматривал с опушки леса лежащую перед тобой деревушку. Окапывали вместе с боевыми друзьями на выбранной высотке сорокапятку. Сколько сил забирала эта опротивевшая пушка. «Прощай, Родина» в шутку прозвали вы ее за то, что в неравных боях с крестоносными танками погибали артиллеристы целыми расчетами.

Где-то на такой опушке ты не успел похоронить своих товарищей.

На три месяца для тебя исчезли все звуки.

Твою голову разорвала невыносимая боль.

В госпитале ты молил Бога о смерти. Но Бог не спешил прислушаться к твоему стону, тебе судьбою было начертано полюбить, родить троих сыновей... и часто вспоминать тот взрыв.

Я помню такие минуты, мама тогда закрывала плотными шторами окна, а ты, стиснув зубы, кричал в подушку. Ты не хотел, чтобы мы слышали этот леденящий душу крик, ты не хотел казаться слабым. Мама выгоняла нас на улицу. Но мы, твои дети, все понимали... и ходили вокруг дома с круглыми от ужаса глазами. Эти глаза выхватили ту вспышку из плотного, пахнувшего порохом и потом воздуха. Эти глаза видели последние конвульсии твоих товарищей, эти глаза заглядывали в ствол вражеского автомата... Тогда мы смотрели на мир твоими глазами.

А помнишь, когда мы тебя просили рассказать о войне, ты отмахивался: «О войне нечего рассказывать, ее нужно просто забыть». Ты часто вспоминал только тот светлый миг, когда кто-то ворвался в казарму под Кенигсбергом и громко выкрикнул самое сладкое слово «ПОБЕДА!» — слово, которое вы слагали по буквам своим ратным трудом долгие четыре года. И как в нижнем белье все бойцы выскочили на улицу, устроив часовую канонаду. Мне кажется, я там был. Мне кажется, я все видел. Я так отчетливо помню эту картину. Это раннее весеннее утро, эти крики ликования, всеобщего веселья. Я даже помню, как ты потом незаметно ушел в казарму и не мог найти себе места — начался приступ. И как ты потерял сознание, и как кто-то скомандовал не стрелять. А потом ты сидел по вечерам, уставившись в заклеенное накрест окно казармы, и думал, как несправедлива судьба. Ты, просивший на передовой смерти, остался жив, а Сашка, ко-

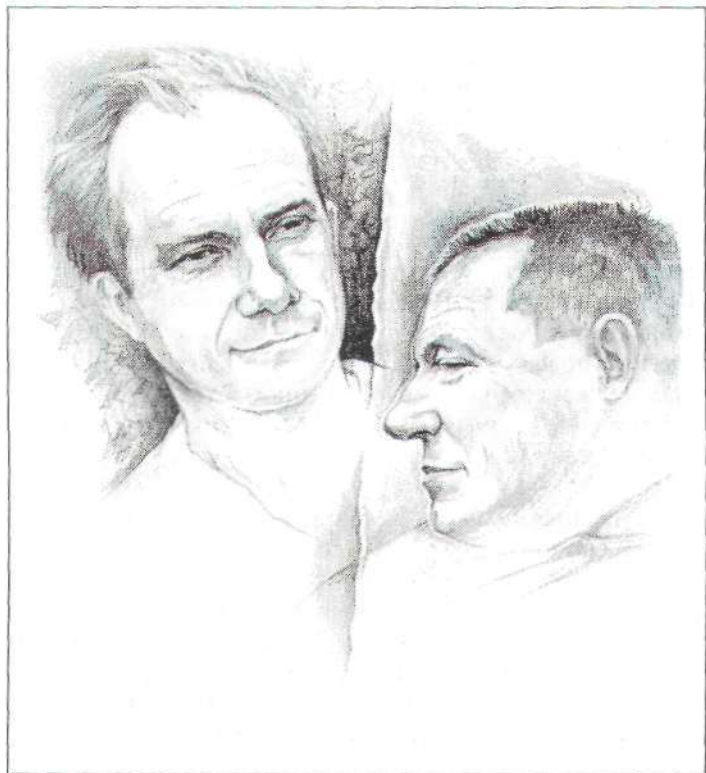
того ждала беременная жена, погиб за несколько дней до конца войны, до ПОБЕДЫ. Ты сидел, курил самокрутку и понимал: тебя во всем свете никто не ждет, никому ты не нужен.

Ну, да ладно, отец, что это я о грустном... Нужен ты стал маме, нам, детям, которых учил уму-разуму.

Давай, поднимем стопки за тех, кто положил животы свои, «приближая День ПОБЕДЫ, как могли», за тех, кто еще здравствует. Ну, давай, не чокаясь... помянем...

Тихо... Смотри, вон пара налетает. Видишь, сели прямо напротив. Кряковые. Ружье. Ах ты, селезень, наглец. Еще круги не разошлись на водной глади, а он уже приставать к «даме». Кря, кря! — басовито так протягивает. Кря, кря, кря — высоко мельчит его подруга и гордо плывет, как будто пытается убежать. Нет, стрелять нельзя. Весна! Любовь! Ухаживания продолжаются долго. Посмотрим... Селезень следом. Кря! Кря, кря! Кря! — басом. Кря, кря, — завлекая суженого, отзывается утка. Действует. Он словно нитка за иголкой — туда-сюда. Вот она подплывает к льдине и с ходу забирается, ловко подмахивая крыльями. Точно так же, со взмахом, опираясь крыльями о плотный весенний воздух, забирается на льдину и селезень. Он красивый: с зеленым отливом голова, четко очерченная линия на шее, светлая, отливающая закатным розоватым светом грудка. Даже завиток на хвосте виден. Она же серенькая, невзрачная, остановилась в ожидании, высоко вытянув шею, взмахнула крыльями, словно потянулась после сна. Селезень, почувствовав твердь под ногами и переваливаясь с боку на бок, подбежал и запрыгнул на спину серенькой своей подружки.

А вот еще подлетают: пара, другая. И снова играют в догонялки. Заметил, как потемнело? Уже десять часов. Залетали,



залетали.... Вот он лет утки в полном разгаре! Снова пара падает рядом с чучелами.

Пусть себе летают, а мы поговорим... Мы так мало с тобой общались.

У тебя работа, дом, хозяйство. У меня свои дела, друзья, учеба, работа.

— Сын, как у тебя там дела, как науки твои? Экзамены?

— Нормально, пап, все ладом. Голова болит, отец?

— Бывает, но уже привык. Вот выучишься — вылечишь, — отшучивался ты.

Вот и весь разговор...

Выучился, но не вылечил...

Тебя удивит, что я знаю то, о чем ты никогда не упоминал при нас. Придется покаяться в одном грехе: я подслушивал вас с дядей Петей — Петром Климентьевичем, твоим свояком. Сначала получилось случайно — само собой. Отрапортовали в тот день парадные речи, отсверкали глаза пионеров, отзвенели искренние колокольчики детских голосов на праздничных встречах, посвященных Великой ПОБЕДЕ.

Вы сидели с ним на веранде — два фронтовика, выпивали за ПОБЕДУ, «за тех, кто остался...». Я даже помню бутылку водки на столе. То была «Московская» с такой зеленой этикеткой. Помнишь?

— Слушай, Леня, что я тебе скажу, — начал как-то полупшепотом дядя Петя, — никто не должен знать то, что сейчас услышишь, ни Лена твоя, ни тем более Аннушка моя. И вообще никто. Ты уже знаешь, что под Берлином меня изрешетило осколками. Достали из моего тела двенадцать железок, еле выбрался из того света... Да, видно, ненадолго.

— Что ты болтаешь. Выжили — значит, будем жить.

— Не знаешь ты главного: во мне прямо под сердцем сидит еще один осколок. Его вытащить так и не смогли. Место недоступное. Я неделю назад в Киеве был, обследовали меня мои коллеги и сказали, что можно сделать операцию, но шансы меньше, чем пятьдесят процентов. А этот осколок в последнее время все чаще и чаще дает о себе знать. Колет, как будто нож кто вонзает. Один из приступов может оказаться

последним.... У тебя голова — у меня сердце. Каждый свою боль носит. Как врач, я понимаю: не долго мне осталось... — он обнял тогда тебя и после паузы сказал: «И тебе с твоей контуженой головой тоже не век жить...»

Я тогда впервые увидел мужские слезы, я впервые слышал дрожащий голос сурового на вид дяди Пети. Я носил эту тайну, как тяжелую гирю. Я не мог никому поведать то, что знал. Это было невыносимо. Я стал смотреть на дядю Петю другими глазами и удивлялся, как просто ты умел хранить эту тайну и по тебе ничего не заметно. Я же здоровался с тетей Аней торопливо, боясь, что она спросит: «Что ты скрываешь от меня? Скажи, я ведь все вижу». Старался реже попадаться на глаза дяде Пете. Вдруг он подойдет, потреплет волосы, как он любил делать, и скажет: «Нехорошо подслушивать. Держи язык за зубами, сынок».

И я держал.

А через два года дядя Петя умер.

Ему исполнилось сорок два.

И ты не век прожил....

Пятьдесят девять — это разве возраст?

Затем я подслушивал ваши разговоры нарочно. Я терся рядом с вами, по несколько раз лазил в ящик стола, будто что-то искал, ронял какой-то винтик и ползал под столом, стульями. Уши, как локаторы, улавливали каждое слово. Ты ведь помнишь? Тебя еще это раздражало, ты пытался меня прогнать с веранды, но я снова находил повод зайти, и вы с дядей Петей уже не обращали внимания на мое «случайное» присутствие. С тех пор я ненавижу подслушивать, подсматривать в замочную скважину. Лучше неизвестность.... Но не раскаиваюсь.

Я бы не знал про твой штрафбат, про этот месяц ада, когда после каждой атаки под Кенигсбергом от каждой роты оста-

валось в живых два-три человека, а назавтра их место занимали новые проштрафившиеся, и их снова гнали вперед под пули бездумно и безжалостно. Что это было? Скрытая форма приведения в исполнение смертного приговора? За что? За то, что ты на нормальном траншейном русском объяснил молодому безумному лейтенанту, что нельзя пушку ставить на открытом месте, потому что стоять ей там до первого вражеского выстрела. И что люди могут погибнуть. Ты замаскировал пушку, и она на славу поработала, подбила три танка. А ту лысую высотку разнесло в пыль. Ты там поставил большой ящик. Ты спас свой расчет, подбил вражеские танки, но вместо награды угодил в штрафбат. Откуда было знать замполиту, что материться ты научился раньше, чем он считать до десяти. Он же не воровал в десятилетнем возрасте. Он же не знал, что такое стая голодных бездомных детей, живущих по жестоким законам улицы. Не простил лейтенантик сержанту матерщины. И замполит, видимо, ждал от завшивленных и голодных солдат «чего изволите», вместо той роковой, но, очевидно, уместной фразы нелитературного образца...

После каждой атаки, выпивая из алюминиевой кружки неразведенный спирт, ребята спрашивали: «Тебя снова не зацепило, Ленка? Ну, тогда завтра наповал шлепнет». За столом сидят все перевязанные: каждый попробовал немецкого «угощения», каждого зацепило. Только ты невредим. Тяжело раненных отправляли в госпиталь, а с «царапинами» в штрафбате не положено «отдыхать». Назавтра новая бездумная, никому не нужная атака. И снова: «Ну, завтра-то тебя точно убьет». И ты снова шел в атаку в полный рост. Ты искал пулю, но пули свистели вокруг, словно издевались и глумились над твоей юношеской наивностью. Тебе было уготовано другое. Тебя снова ударило взрывной волной разорвавшегося рядом снаряда, для тебя снова наступила тишина. Теперь «только» на месяц...

А потом взятие Кенигсберга уже со своей частью. Свою вину ты искупил кровью: раненные и контуженные в штраф-бате реабилитировались. Ты еще успел до конца войны получить новые награды: медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и орден Славы III степени, снова стать сержантом после разжалования в рядовые....

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Для тебя всегда самым-самым был этот праздник с сиренью и черемухой, с тюльпанами и ландышами, с духовым оркестром в городском парке.

Кстати, через час наступит 9 Мая. Темно. Конечно, это не украинская ночь, но тем не менее... Моросит мелкий дождик, а я даже не заметил за разговором. Стало зябко и как-то сыро. Холодок незаметно заползает за пазуху, обнимает спину.

За Победу! За твою Победу!

Как звонко, словно праздничный салют, зазвенели стопки. Утки замотали головами. Вон там, на фоне светлого неба. Пригнуться нужно. Вот так видно? Завертелись. Тихо, не шевелиться. Ну, вот и успокоились, но на всякий случай отгребают дальше, в темноту. Все! Скрылись, растворились в ночи. Еле слышны редкие всплески.

Ну что, отец, пойдем в лесок, вон в тот, что за спиной, чайку вскипятим, погреемся у костра. Чай из талой воды вкусный получается, я бы сказал — целебный. Ноги затекли от неподвижного сидения. Прохладно. Ничего. Пойдем.

Костер разожжем, не беспокойся. Твой сын в тайге как у себя дома. Все вокруг сырое? Вот, смотри. Снимаешь промокшую кору с этой сушины, внутри она как сухая спичка — и под рюкзак или за пазуху, чтоб дождем не намочило. Бере-ста, сухие ветки под густой кроной кедра. Быстро делаем шалашик из припасенных дровишек, чирк — и все. Дымит, правда, — сырость, ничего не поделаешь. Потерпим.

Закружил дымок, пламя робкими язычками облизывает сыроватые ветки, неустойчиво качаясь. Вдруг резким дуновением его прижимает к земле, но тут же огонь вспыхивает ярко и весело, набирая силу. Свежий ветерок придает огню уверенности. Это хорошо: разгонит тучи, к утру распогодится.

Пока чай закипает, я тебе еще в одном повинюсь. Раз уж разговор начистоту пошел...

Это я когда-то прибил гвоздями калоши Григорию Степановичу, нашему учителю физики. Мы его «Цислем» прозывали за мягкое произношение слова «число».

— Какое сегодня «цислѐ»? — спрашивал он, зайдя в класс, и мелом писал на доске дату. Так начинался каждый урок физики.

Он был старомодным человеком, носил калоши, серый плащ и шляпу с большими полями. Его шкаф, куда он вешал свой плащ, клал на верхнюю полку шляпу и ставил свои блестящие калоши, стоял в углу, по диагонали от входной двери, за последней партой. Мы, пацаны седьмого класса, в щелку наблюдали, как Григорий Степанович обувал калоши, смешно подпрыгивая на одной ноге. Потом оказывалось, что в носках калош прятались чернильницы. Он доставал чернильницы, поматывая головой, одевался с невозмутимым выражением лица и гордо шествовал через класс к выходу. Мы же в это время быстро убегали на второй этаж.

Шкаф был самодельный и не имел нижней полки. Калоши стояли на полу. И я, уловив момент, когда Григорий Степанович вышел из класса, достал припасенные гвоздики и приколотил гирей калоши. Гири я взял с полки, где аккуратно рядами были разложены различные приборы: хронометры, барометры, склянки с растворами, весы.

А ведь Григорий Степанович сразу «вычислил» меня. Да и как не «вычислить» — кто бы другой мог позволить себе такую дерзость с «Цислем». А я его не боялся, он несколько раз бывал у нас дома, когда я еще в школу не ходил. Уже тогда я с удивлением смотрел на его калоши. Он уже тогда был седым и очень старым. Он поседел еще в войну.

Но он не стал жаловаться тебе, а наоборот хвалил меня за успеваемость. Действительно, я учился хорошо, только вот поведение часто давало повод для огорчений.

Он по-своему меня воспитывал.

Наш класс находился в другом корпусе.

— Молодой человек, — поднимал меня Григорий Степанович, — у тебя треугольник есть?

— Нет, я не знал, что он понадобится.

— На уроке физики любой измерительный прибор может понадобиться в любую минуту. Сколько секунд тебе нужно, чтобы принести треугольник из своего класса? — и он смотрел в окно, прикидывая расстояние. — Я думаю, минуту хватит. — Он доставал секундомер. — На старт... марш! — делал он отмашку секундомером.

И я бежал по коридору, открывая на бегу двери: коридор, входная дверь, школьный двор, снова входная дверь, снова коридор, дверь в класс. Достаяю треугольник, бегу назад...

— Минута и двадцать секунд. Слабо бегаєте, молодой человек, слабо.

Он снова давал отмашку, и я пускался по тому же маршруту, оставляя все двери открытыми.

— Минута и пять секунд. Лучше, но...

Я снова бежал. Это была плата за мое озорство. Пока я бежал, Григорий Степанович вел урок, как будто ничего не происходит. Я же несся по коридорам сквозь заранее открытые двери.

— Вот это результат. Пятьдесят пять секунд. Ведь можешь?.. — и он, улыбаясь, смотрел в мое забеганное лицо. — А теперь иди к доске и отвечай домашнее задание.

Он не ходил с жалобами к директору, как делали молодые учителя. И тебе он ничего не говорил о моих проделках. Теперь я знаю почему. Его сын тоже был на фронте. Я видел его иногда под огромной черешней в инвалидной коляске. Иногда ты заходил в тот маленький дворик, и вы, сидя за самодельным столом в тени, о чем-то разговаривали и курили дешевые папиросы. Григорий Степанович обычно хлопотал у стола. За пределами этого дворика сына учителя никогда никто не видел. Он стыдился своей увечности.

Я раньше не верил старым людям, когда они, почесывая затылок, говорили: «Вот, я помню, это было тридцать лет назад...» Не мог я себе представить, что память хранит события тридцатилетней давности. Я не верил! А теперь сам вспоминаю то, чему уже минуло сорок лет. И всплывает в памяти множество картинок из того далекого детства, такого яркого и стремительного, что стоит только погрузиться в воспоминания, как цветной калейдоскоп цепко овладевает моим сознанием, и уже невозможно сосредоточиться на чем-то одном. Однако некоторые эпизоды острыми осколками застряли в памяти, прокручиваясь время от времени, словно магнитная лента, и высвечиваясь каждой запомнившейся навсегда гранью.

Я помню, мы жили довольно скромно. Ты работал учителем. Мама не работала — тяжелый порок сердца, сердечная недостаточность. Учительская зарплата и тогда не позволяла жить нормально. Мама вела семейный бюджет так, чтобы пять человек семьи могли как-то существовать на сто шестнадцать рублей твоей учительской зарплаты. Она переняла от своего отца, моего дедушки Ильи Афанасьевича, ремесло,

которое давало дополнительный семейный доход. Но не женское это дело шить меховую одежду. Ты, как мог, помогал ей. Я помню, как по ночам ты вычинял шкуры, сначала вместе с дедом, а потом, когда дед умер от рака легких, сам возился с этой вонью. Утром приводил себя в порядок и шел учить детей. Ты перестал писать стихи, басни, ты забросил кисть и масляные краски. Твой мозг был занят одним: добыть деньги, накормить детей — своих сыновей.

Я помню, как, наливая чай, мама клала в каждую кружку по две ложечки сахара. Никому не запрещалось взять еще, но все знали, что положено две.

Однажды мама попросила меня купить хлеба. Обычно мы покупали три булки черного хлеба на неделю. Черный хлеб стоил шестнадцать копеек. Белый — восемнадцать, двадцать. Белый хлеб мы покупали редко. Ты еще шутил, что от белого хлеба в носу свистит. Я и сейчас в это верю, как и в то, что чем быстрее помешивать ложечкой чай, тем он будет слаще. Я до сих пор кладу в чай только две ложечки и быстро кручу, образуя воронку.

Так вот, взял я сорок восемь копеек, авоську и пошел в хлебный магазин, что напротив аптеки. Ну почему тогда не было черного хлеба? Зачем завезли нарезные батоны по двадцать четыре копейки? Какие они были аппетитные! Какой запах! Я не удержался и купил два. Один съел по дороге. Мне казалось тогда, что ничего вкуснее на свете не существует.

Мама, увидев обвисшую авоську с одним батоном и мое сытое лицо, все поняла. С ней случилась истерика.

Я не знал, что это были последние деньги.

Я многого тогда еще не знал.

Ты стал невольным свидетелем этой сцены.

Ты стоял за спиной мамы.

Я никогда не забуду выражения твоего лица.

Потом ты выскочил в открытую дверь, в комнату.
И стон сквозь подушку...

За чаем и разговорами время летит быстро. Светает. Внезапный порыв ветра перебирает хвойные лапы кедра, прижимает к земле дым и гонит в глубь гривы. Где-то на северо-востоке еще не появившееся солнце прорвало светлую полосу вдоль низкого горизонта. Дождь закончился, и свежий ветерок, сдувая прозрачные дрожащие капли с еще не распустившихся почек, поднимает пепел из догорающего костра. Появились блеклые звезды в разрывах между облаками. Пора в скрадок.

Уток налетело много. Видишь, на льдине сидят, нахохлившись. Большими кажутся, как гуси. А там стайка чернети. Прижались к воде, насторожились. И на льдине тоже вытягивали шеи.

Нас заметили.

Стоп. Тихо.

Не шевелиться.

Постоим на краю гривы.

Какой простор!

Птичий гомон нарастает с каждой минутой. Давай, отец, послушаем эту шумную симфонию. На первый взгляд кажется нескладной эта музыка. А ты прислушайся. Каждый ведет свою партию неповторимой мелодии. Здесь нет первой скрипки, здесь нет второстепенных инструментов. Никто на этих подмостках не отсиживается на подпевках. В этом величии звуковой гаммы все солисты. Каждый исполнитель поет СВОЮ песню жизни СВОЕМУ заинтересованному слушателю. И никто не останется без внимания.

Прорываемся в скрадок. Шумно снялись стаи, закружили, поднимаясь с каждым витком все выше. Снова налетают

парами утки, садятся, чтобы продолжить свои брачные игры. Радуются весне.

Но у нас свой разговор.

Уже 9 Мая!

С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!

Чайки так неистово кричат, что звон рюмок почти не слышен.

Так же кричали чайки над Каховским водохранилищем в том далеком и страшном 1933 году, когда умерла твоя мама. Отец твой умер, когда тебе было три года, отчим — не дотянув до весны 33-го. Он свой паек отдавал вам: твоей маме, тебе и твоему младшему брату Ване. Мама в первую очередь старалась накормить детей. Ты спрашивал маму, почему она не ест, а она успокаивала: «Мне хватает...», и она показывала тебе свои руки и ноги: «Видишь, Леня, я даже поправилась». Ты верил ей и делил ее паек с Ваней. Откуда тебе, десятилетнему мальчишке, было знать, что то были «голодные» отроки...

Ваню усыновили родственники твоего отчима, его родного отца, и увезли в другой город. Время было тяжелое, и взять обоих они не могли.

Сначала ты тяжело приживался в банде беспризорников, но потом, благодаря смекалке и ловкости, освоился. Ты научился бесшумно выдавливать стекла, предварительно заклеив их намазанной солидолом бумагой, делать подкопы и ужом проскальзывать в любую щель. Ты научился на базаре «заговаривать зубы» спекулянтам-барахольщикам, пока по их карманам шарилась старшая твоя напарница...

Ты научился жить этой мерзкой жизнью.

Ты научился выживать.

Через полтора года ты нашел своего брата. Оборванный, с завшивленной копной нечесаных волос, босой ты доби-

рался в далекий город Хмельник через всю Украину — где пешком, где товарняками. Раньше ты уже бывал здесь с мамой и отчимом. Остановившись у знакомой калитки, ты долго наблюдал за мальчиком лет шести в чистеньком костюмчике. Тебе запомнился этот матросский костюм, веселый мальчуган, бегающий по лужайке за красно-зеленым мячиком. Он подошел к тебе. Ты смотрел на родное лицо брата, и слезы, промывая две бледные полоски на твоём грязном от угольной пыли лице, лились щемящим непрерывным потоком.

Полтора года ты не плакал.

Ты стал уже взрослым.

— Я кушать хочу, Ваня, — еле выдавил стыдливо.

Потом ты смотрел вслед бегущему в сторону дома мальчугану.

— Тетя, там старец пришел, он кушать хочет! — кричал тот.

Тетя долго не выходила. Ты смотрел на своего брата и радовался его судьбе. Но что-то тревожное шевельнулось в душе: ты вдруг испугался, что станешь невольной помехой благополучию твоего Ванечки и, не дождавшись тети, поспешил скрыться.

Встретились вы с братом только после войны. Я помню, как ты ему рассказывал о своем беспризорном прошлом, о детдоме, войне. Мне не забыть, как, обнимая тебя, украдкой смахивал слезу дядя Ваня. Твои же глаза оставались сухими: ты свое уже выплакал, отстрадал....

Солнце уже выкатилось и слепит глаза, отражаясь от неровной водной поверхности тысячами солнечных осколков.

Пора домой.

А тебе бы здесь понравилось.

Я знаю.

Но не судьба.

Ты собирался приехать ко мне летом восемьдесят второго, а смерть настигла тебя седьмого ноября восемьдесят первого. Ты уже не работал. Просто не мог работать, и тебе позволили пойти на пенсию на год раньше — в пятьдесят девять. Но секретарем парторганизации школы ты оставался по-прежнему. В тот праздничный день ты, как обычно при орденах и медалях, в восемь утра (ты любил точность) направился в школу, но дверь, которую открывал каждое утро уже тридцать лет, не распахнулась. Те фронтовые взрывы эхом невыносимой боли отозвались в твоей голове.

Ты потерял сознание.

Для тебя наступила тишина.

Теперь НАВСЕГДА.

На похороны я опоздал: нелетная погода. Я звонил из Москвы, где застрял на двое суток, и просил не засыпать могилу землей. Мне хотелось попрощаться с тобой.

Заметенную снегом могилу помогал откапывать дядя Ваня.

Ты улыбался своей доброй улыбкой, как будто успокаивал меня. В этой улыбке была неловкость человека, невольно причинившего боль ближнему.

Мои коллеги врачи, исследовав твой мозг, удивлялись, как ты жил. Я не стал читать заключение о причине смерти. Я знал больше, чем они.

А вот и товарищ, который отказался вчера идти на охоту.

— Ну, как зорька? — спрашивает он, потягиваясь после сна в теплой постели.

— Такая охота бывает раз в жизни, — я смотрю на него благодарными глазами и думаю: «Хорошая все же штука — телевизор!»

КРЕСТНЫЙ ЖОД

I

— Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого...

Боже, душе святой! Помилуй меня, грешницу старую, и внука мого Гришу. Даруй исцеление ему, Господи! Вразуми, очисти душу его от всякой скверны. Дружков отвори от него, будь они прокляты... Прости, Господи, владеть собой не могу, нету сил... Не могу смотреть на них, окаянных: кружат вокруг, как вороны... Прости, Господи! Вразуми их, несчастных! Погибают... Дьяволу отдались в руки. Верни их мудростию своею. Заблудились, не ведают, что творят. Образуми, Господи! — Екатерина Романовна неистово крестилась, стоя на коленях и после каждого креста с трудом прилипала лбом к холодному полу, поднимала заплаканное лицо к образам, крестилась и снова падала ниц.

Огонек в лампадке подмигивал после очередного поклона, затем снова замирал, вытягивая тонкую копченую ниточку вверх в темноту. Тяжелые шторы не пропускали света с улицы. Свет все же полосой проникал в затемненную комнату через приоткрытую дверь.

— Боже! На Тебя надеюсь, на силу и благодать Твою... На все воля Твоя... — старушка замолчала на минуту, вытерла платочком непрерывно катившиеся слезы и долгим тягучим взглядом уставилась в отворенную дверь.

В другой комнате на диване лежал довольно молодой человек, бритый наголо. Почти детское лицо его выражало не то страдание, не то испуг. По тому, как беспорядочно бегали глаза под синеватыми полупрозрачными веками, можно было догадаться, что его донимали тревожные сны-видения. Рукав легкой рубашки закатился высоко, оголив тонкую костлявую руку подростка, испещренную синяками, рубцами и свежими темными точками.

Екатерине Романовне в просвет была видна только рука, свисающая безвольной плетью. Отсюда, из темноты, рука казалась восковой и безжизненной. Только мелкие подергивания пальцев напоминали о теплящейся в этом слабом теле жизни.

Сердце Екатерины Романовны предательски шевельнулось раз, другой, замерло, потом заторопилось, снова холодная пауза... К горлу подступил комок. Слабость потянула книзу плечи, голову. Она, не вставая с колен, собрав остатки сил, дотянулась до комода, взяла дежурный пузырек с корвалолом, накапала почти полную чайную ложечку, выпила, перекрестилась тяжелой, непослушной рукой:

— Боже, душе святой! Помоги пережить... Без меня совсем пропадет, — она снова повернула голову к светлой полосе на полу. — Не дай погибнуть единственному внуку. Освободи его душу от скверны. Дай ему силы совладать с напастью... А если нет возможности вернуть мне Гришеньку... — она горько зарыдала. — Сил нет моих больше терпеть... Прими меня рабу твою, грешницу старую, дай умереть без мук и с покаянием! Прости, Господи! — подняв глаза к святому лику,

она прошептала: — Дай мне силы завтра... Дай силы дойти до Чудотворного Креста, — перекрестившись, она тяжело поднялась, придерживаясь за угол комода.

Екатерина Романовна, стараясь не шуметь, тихо прикрывала дверь в свою комнату, достала ключ из отвисшего кармана.

— От родного внука закрываю... Прости, Господи, — прошептала она и прошла к выходу, стараясь не смотреть на внука. Наружную дверь закрыла на два замка.

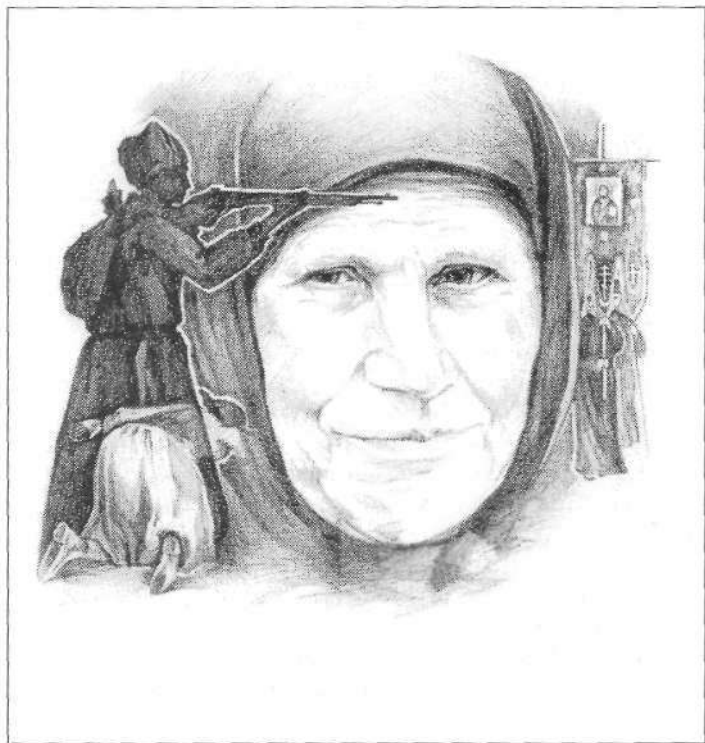
До вечерней службы время еще было, и она, свернув с главной аллеи, ведущей к церкви, направилась ко Кресту, что установлен на дальней полянке в честь того, калиновского. Она любила там сидеть в тени. На одной из скамеек, затененной кустами уже давно отцветшей сирени, сидел пожилой мужчина в светлом старомодном костюме. Его шляпа лежала рядом, и он то и дело вытирал лысую голову платочком, не отрываясь от книги. Екатерина Романовна знала его. Профессор Бауман (имя, отчество она уже не помнила) преподавал когда-то у сына в институте. Сколько лет прошло... Иван их даже знакомил как-то. Вот у этой же самой скамейки.

— Здравствуйте, дай вам Бог здоровья! — окрепшим голосом сказала старушка.

— Здравствуйте! Присаживайтесь, — профессор взял шляпу, освобождая место, хотя скамейка была не занятой.

— Вы меня, конечно, не знаете...

— Отчего же, помилуйте Екатерина Романовна. Очень даже хорошо знаю. И Ивана Степановича, сына вашего... покойного... — тут профессор запнулся, — помню. От Бога хирург... был. Я ведь тоже его рук не миновал... Золотые руки... Царство ему небесное. Помню я Вашего сына, помню. Он ведь учился у меня. Молюсь за душу его светлую... И Марию Денисовну, невестку вашу, тоже знаю... знал и помню. Они в одном отделении работали. Молюсь...



— Спасибо... А я ведь, извините, запомнила, как зовут-то вас и по батюшке.

— Евгений Михайлович, — отрекомендовался профессор и сделал попытку приветствовать, но подал только свое массивное туловище вперед.

— Слышали, Евгений Михайлович, — завтра Крестный ход в Калиновку ко Святому Кресту...

— Как же! Только и разговору последнее время. И на службе батюшка в проповеди касался предстоящего Крестного хода. Сегодня на вечерней огласят порядок... К сожалению, мне уже сие мероприятие не под силу. Суставы, знаете ли... Возраст... Восемьдесят два... Да-с, — на старинный манер закончил профессор.

— А я, даст Бог здоровья, пойду. Я ведь из Калиновки родом. Помню, мне моя мама про тот Крест рассказывала... Со всех сторон народ собирался каждое лето в июле, в годовщину, значит. У нас многие странники останавливались. Восемьдесят лет прошло, как грех тот сотворился. Одна старушка, однако, осталась... свидетельница. Слепая совсем...

— Не могли бы вы мне рассказать? — Евгений Михайлович придвинулся ближе, приготовившись слушать.

Он знал эту историю, слышал о ней неоднократно. О том, как с фронтов первой мировой войны возвращались солдаты на повозках. Один солдат, бравирюя своей меткой стрельбой, поспорил, что попадет из трехлинейки в крест, стоящий впереди на перекрестке. Его отговаривали, но он, нахлебавшийся уже революционных и атеистических речей, все же выстрелил. Попал. Доказал свои снайперские способности. Подъехав ближе, солдаты увидели, что из отверстия, проделанного пулей, сочится кровь. Солдат, стрелявший минуту назад, тут же ослеп. Так гласила легенда...

— Приезжали врачи, ученые, брали на анализ. Признали, что это настоящая кровь. Кровь, говорят, сочилась постоянно. Людей прибывало много посмотреть чудо Господне... С других стран, однако, приезжали... А вы что об этом думаете, Евгений Михайлович?

— Видите ли, Екатерина Романовна, я ученый... Верующий ученый. Я уверен только в одном: наука еще многого

просто не может знать. Мне не хотелось бы объяснять чудеса, сотворенные Божиим промыслом. Мир кончится, если все будет объяснено. Жизнь потеряет смысл, — профессор задумался. — А какая судьба того солдата и что случилось с Крестом? — спросил он после паузы.

— Солдат потом покаяться, окрестился: он, говорят, даже не знал — крещен ли; прозрел и всю жизнь просил прощения у Господа в монастыре. Вот только в каком, не слыхала. Крест же большевики убрали. Сначала никак не могли вытащить его: копают, копают, а конца все нет. Наутро приходят, а земля снова на месте, словно и не трогал ее никто. Снова копают, копают, а утром та же картина. Зарядили тогда взрывчатку и подорвали. На месте креста воронка образовалась, и стала это воронка заполняться кровью. Сколько ее ни засыпали, а кровь просачивается. Теперь на том месте церковь построили, внутри Крест большой стоит, сквозь стеклянные стены его с улицы видать. Кровь проступать перестала. Со всех концов народ едет... Там, в Калиновке, похоронены Иван с Марией... — перескочила уже на свое Екатерина Романовна. — Пойду завтра, даст Бог силы... Может, Гришеньке вымолю спасение... Такая беда с ним приключилась... Такая беда... Не приведи Господи! — Екатерина Романовна перекрестилась, глаза ее увлажнились, и она достала еще не высохший платочек.

— Может, моя помощь пригодится... Я ведь знаю вашу проблему. В одну церковь ходим: здесь все друг о друге знают. Я готов помочь...

— Спасибо, Евгений Михайлович, но мы уже все испробовали. Ванины друзья помогали — все бесполезно. Теперь только на Божию волю полагаюсь. Крестным ходом пойду... Молиться буду...

II

Паломники начали прибывать уже с рассветом. Небольшая площадь перед церковью как-то тихо и незаметно заполнялась людьми. Шла служба, и дверь в церковь была открыта. Люди входили, выходили молча, собирались в группы, боясь потеряться в многочисленном потоке. Наблюдалось то тихое брожение, какое бывает при большом скоплении народа. Завидев друг друга издали, знакомые подходили, молча обнимались, шептались, поглядывая по сторонам, словно боялись кого-то потревожить. Иногородних священников, вышедших из двух автобусов, толпа пропускала молча, неслышно расступаясь в почтительном поклоне. Молодежь, удивляясь всему, округляла глаза, старушки крестились, старики почтительно, придерживая бороды, склоняли седые головы.

— Братья и сестры! — обратился к паломникам молодой священник. — Крестный ход начнется ровно в десять. Впереди, во главе пойдут представители духовенства, монахи. Просим не толпиться, соблюдать порядок, — говорил он хорошо поставленным голосом. — В пути предусмотрены две остановки для отдыха. Нас будут сопровождать две машины «скорой помощи». Да благословит вас Бог! С Богом, братья и сестры!

Екатерина Романовна давно не чувствовала такого подъема. Она забыла о своих немочах-недугах. Через два ряда сбоку, сгорбившись чуть не до самой земли, шла, опираясь о посох, старушка. Она постоянно что-то шептала, упоминая одно и то же имя. Потом уже узнала Екатерина Романовна, что просила эта согбенная старушка у Бога здоровья своему умирающему мужу Глебу. Народу шло много и справа, и слева; вперед колонна растянулась далеко, и сзади конца и краю не видно. Слух прошел, что около десяти тысяч. Сердце Ека-

терины Романовны работало безотказно, никаких сбоев. Сладостная благодать заполняла душу.

— Боже, душе святой, помоги моему Грише, вразуми его, дай силы ему, направь его на путь истинный! Очисти душу его от скверны, отвори черных воронов... Прости меня, Господи! Может, не досмотрела где, может, виновата в чем! — она и не замечала, что уже вышли из города, что уже идут нескончаемым полем. — Боже, душе святой, дай силы...

Не было конца людскому потоку.

Не было конца ее мучительным думам...

Молитва ее тоже не имела конца.

— *Скорый в заступлении един сын, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу твоему Григорию и избави его от недуг и горьких болезней...*

Беспрерывно она повторяла, вплетая в молитву воспоминания о погибших детях, просила у них прощения. Винула себя, что помогла им купить тот злополучный «Запорожец», которому Иван так радовался. Теперь он мог чаще приезжать к ней из областного города. Винула себя, что в тот раз позвала Ивана с Марией в гости: яблочки уродились. Хотелось угостить. Да и сами они каждую возможность использовали, летели, как на крыльях... Гриша-то, сыночек их ненаглядный, тогда по всему лету у нее гостил. Какое время было!

— Что ж ты, Ваня, с дежурства, не спавши — в дорогу? По сыночку соскучился... Две ночи не спал. Выходные зарабатывал... Подменял... Господи, прости его невинную душу. Сам жизни лишился и Марию с собой... Уснул за рулем...

Екатерина Романовна обращалась то к сыну, то к невестке, то к внуку своему Гришеньке. Просила прозреть, пожалеть ее и себя непутевого...

Первый привал застал ее внезапно, прервав череду тяжелых воспоминаний. Люди заполнили дубраву, что тянулась

справа сплошным массивом. Плотная тень дохнула свежестью, запахом тронутой, примятой травы. Екатерине Романовне захотелось сесть на прохладную травку, прилечь. Нет, не от усталости. Усталости не ощущалось. Бывало, поднимаясь на свой третий этаж, она останавливалась на каждой площадке, переводя дух, прислушивалась к шальному сердечному ритму. А тут, пройдя половину пути, она и не вспомнила о своем корвалоле. Она остановилась, прислонившись спиной к прохладному стволу столетнего дуба, ощутив шершавую кору; правой рукой тремя пальцами, как делают врачи, нащупала пульс на левом предплечье. Тук-тук-тук... Ни одного сбоя... Слава тебе, Господи...

— Вам плохо? — спросила ее долговязая девушка, одетая в ярко-желтую футболку и в короткой юбке. Екатерина Романовна подняла глаза. Почему-то эта стройная девушка запомнилась ей еще там, у церкви. Может, потому, что ей сделала замечание пожилая монашка, указывая на не подходящую к случаю одежду.

— Нет, доченька, все хорошо... спасибо. Я сама себе удивляюсь: прошла двенадцать километров, и нет никакой усталости. Я же сердечница... Три года на одних таблетках да на каплях, — Екатерина Романовна, как бы в доказательство, достала из кармана пузырек с лекарством, — Бог милостив — помогает...

Вдруг захотелось открыть душу этой случайно встреченной девчужке с добрыми, пронизательными глазами, поведать ей о своем Гришеньке, ее ровеснике. Душа наполнилась исповедальным ожиданием, разбухла этим томимым чувством, оно рвалось наружу.

— Женщина, пойдемте к нам: отдохнете, пообедаем, — прервал сладостно-щемящий поток мыслей чей-то властный голос. — Мы еще не начинали... Пойдемте, — уже в другой

тональности, мягко повторил голос. — С удивлением Екатерина Романовна узнала монашку, отчитавшую девушку за ее костюм. — Ксюша, пригласи бабушку, — обратилась монашка к девушке.

— Пойдемте к нам... — Ксюша притронулась к ее локтю, поглядела выжидательно.

— Меня Екатериной Романовной зовут. Я ведь сама родом из Калиновки, — почему-то поспешила она сообщить девушке.

— ...Помолимся, дети мои, перед обедом, поблагодарим Бога за то, что дал нам пищу, за благость и за щедрость его, — сказала монашка.

В семье, что расположилась на большой поляне, а Екатерина Романовна не сомневалась в том, что это была одна семья, все с почтением слушали старую монашку, оказавшуюся бабушкой Ксюши. Девушка села рядом с Екатериной Романовной, по другую руку полулежал на траве мужчина средних лет. «Отец Ксюши», — безошибочно определила она. Такие же пронизательные и внимательные глаза. Она вдруг почувствовала себя в обществе давно знакомых людей. Маленькая девочка лет десяти — Машенька — назвала ее бабушкой. Молодые священники, оказавшиеся монашке племянником и зятем, обращались к ней уважительно: «Екатерина Романовна». Ксюша оказалась студенткой мединститута, как говорится, по стопам отца пошла. Мама Машеньки — сестра темноволосого отца Павла. По другую сторону стола тетя Ксюши, а те две женщины — просто знакомые. Ксюша коротенько поведала о каждом, и теперь Екатерина Романовна знала всех...

— Отец Григорий, — обратилась к русоволосому батюшке мама непоседливой Машеньки, — подайте Екатерине Романовне картошки.

При упоминании имени священника сердце скакнуло. Екатерина Романовна приняла картошку из рук отца Григория, посмотрела в его голубые, чистые глаза. Она знала, что всем священникам, идущим Крестным ходом, дано право исповедовать желающих по окончании шествия. И решила: она будет исповедоваться именно этому молодому, с еще не окрепшей бородкой священнику. Только ему она хотела покаяться, только ему, отцу Григорию, она откроется. Он выслушает, он поймет...

III

...«Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...», — беспрерывно повторяла сгорбленная старушка, идущая справа. Как-то само собой люди выстроились в том же порядке, что и до привала. Екатерина Романовна невольно искала в плотном людском потоке Ксюшу, и в ее груди теплело, когда желтое пятнышко знакомой футболки мелькало где-то далеко впереди. Солнечные лучи, просеянные сквозь полупрозрачное марево, не докучали путникам. День выдался не такой жаркий, как вчера. И в этом многие видели промысел Божий.

На втором привале, длившемся значительно дольше, Екатерина Романовна легко нашла своих новых знакомых. Монашка Макария, бабушка Ксюши, оказалась ее ровесницей и тоже сердечницей, и это их сблизило. Макария, оказывается, с молодых лет страдала сердечной недостаточностью, ей врачи отпускали не так много на этом свете, но родила она троих сыновей и вот после смерти мужа, поступив в монастырь, каждый день молится...

— Бог меня пока милует. Врачи говорят — это чудо, что я живу до сих пор. Но я еще, слава Богу, и Крестным ходом

иду... И в монастыре я до сих пор работаю... Слава тебе, Господи, — она приподнялась, перекрестилась.

— А я еще вчера не уверена была, смогу ли пойти. Такие перебои меня мучили... Аритмия...

Так они долго сидели в тени огромного дуба рядом, как сжиивают подруги, не видевшиеся вечность, и говорили, говорили, сравнивая свои такие похожие и такие разные судьбы...

— Не знаю, могу ли я просить вас, сестра Макария... — остановилась в нерешительности Екатерина Романовна, — помолиться за здоровье Гришеньки моего и за упокой родителей моих и детей... — она прослезилась.

— Напишите... Помолюсь...

Нашли ручку, листочки из записной книжки Ксюши. Екатерина Романовна под словами «за упокой» упомянула мужа своего Степана, родителей — Игната и Серафиму да детей своих Ивана с Марией; в листочек «за здравие» — Григория, внука своего.

— Себя запишите. Мне чтобы не забыть... А так записка есть, я и помнить буду. За вас помолюсь тоже.

И тут Екатерина Романовна растерялась. Ее руки вдруг заплесали мелкой дрожью, мысли разбежались, как призраки в тумане, ручка ткнулась в листок с одним именем — «за здравие», потом в другой, где вписаны пятеро — «за упокой».

— Вот сюда, — указала монашка пальцем под «Григорием». — Исповедайтесь сегодня, сестра моя, — сказала она строго, — и не гневите Бога. Только во власти Всевышнего знать, когда он нас, рабов своих, призовет к себе... Ой, не гневите Бога... — монашка спрятала записки во внутренний карман. Она словно прочитала потаенные мысли Екатерины Романовны, словно слышала она молитву вчерашнюю, молитву-надрыв, молитву-отчаяние.

— Я собираюсь до исповеди. У отца Григория исповедуюсь, — Екатерина Романовна поцеловала руку монашке.

— А Гришу своего к нам привезите в монастырь, можете на время даже оставить у нас. Даст Бог — образумится. Бог и не таким помогал...

IV

На подходе к Калиновке, уже в наступающих сумерках, паломники зажгли розданные на последнем привале свечи. Песнопения с новой силой мощной волной прокатились от начала колонны до последних рядов. Екатерина Романовна никогда не видела более величественного, грандиозного зрелища: огромная яркая лента, уплывала вниз к знакомому ей последнему спуску. Тысячи хаотично шевелящихся огоньков сливались в нескончаемую реку, живую, текущую вперед, в темноту, в невидимую бездну. Огненная река бурлила, шумела, набирая силу, брызгала в темень тысячами искр, сливалась там, сзади, на высоком холме с проявившимися уже звездами, уходила дальше в Млечный путь.

Ноги несли легко, дышалось вольно. Почему-то Екатерине Романовне показалось, что она маленькая девочка и они с мамой возвращаются домой из той страшной тюрьмы в областном центре. Им не позволили передать отцу хлеб, баранки, махорку и теплые носки, свернутые в тугой узелок. «Враг народа» не нуждается в сочувствии, не достоин теплого взгляда дочери, нежного слова любимой жены... Она несет узелок, крепко зажав его в своих детских ручонках. Руки жжет, пальцы немеют, темно... Вдруг они заметили сзади, вдалеке, огоньки... парами. Они передвигаются, бегут вдоль дороги, мама крепко сжимает ее руку, тянет за собой молча, боясь

нарушить тишину.. Они бегут изо всех сил, горящие огнем подошвы инстинктивно держат твердую дорогу. Спотыкаясь, разбивают колени в кровь, поднимаются и снова бегут, не чувствуя боли. Бегут, бегут в темноту. За горкой начинается деревня — спасение. А огоньки зловеще мигают в темноте...

В кузнице на краю деревни работали всю ночь — жатва. Металлический спасительный лязг бился о темные небесные своды громко и звонко. Огонь, раздуваемый мехами, полыхал ярким заревом. Это и спасло их от настигавших волков.

* * *

...Попасть внутрь церкви не было никакой возможности. Шла всенощная, и голос из громкоговорителей разлетался по огромной площади, слышимый каждому. Старушки шептались, приятно удивляясь, что ни один человек не воспользовался услугами «скорой помощи». Екатерина Романовна растерянно искала отца Григория, боясь, что не встретит его в толпе среди ночи. Площадь, заполненная многоликой толпой, освещалась светом, исходящим от церкви, ярко пламенеющей тысячью огнями, сливавшимися в единый поток. Свет рассеивался, равномерно одаривая каждого частичкой своей благодати. Огромный Крест величаво возвышался под куполом хрустального дворца, раздвигая его прозрачные стены.

— Отец Григорий! — отчаянно крикнула Екатерина Романовна, заметив его среди народа. — Отец Григорий!

Молодой священник остановился, повернул голову.

— Я ищу вас, — она с трудом пробралась к нему. — Хотела просить исповедовать меня, — сказала тихо Екатерина Романовна.

Ноги тяжело поднимали отяжелевшее тело, преодолевая ступеньку за ступенькой. Руки тянули перила на себя, словно канат с непосильным грузом. Екатерина Романовна боялась остановиться. Дверь поддалась, зловеще скрипнув. Ключ не понадобился. Сердце зашлось. На негнувшихся ногах Екатерина Романовна проковыляла в свою комнату. Она тоже оказалась незапертой.

Старуха рухнула на колени рядом с выдвинутыми чужой рукой ящиками старого комода:

— Господи! — шептали губы. — Прости его! Сам не ведает, что творит. Прости его, Господи! — Слабеющая рука крестила посеревшее лицо, другая надеялась сдержать разогнавшееся в последнем рывке сердце. — Господи, прими мою душу..

Как и просила Екатерина Романовна, похоронили ее рядом с Иваном и Марией. Место, где в ограде стояла деревянная скамейка, сама же для себя и оставила. Народу собралось не много. Из родных, кроме единственного внука, никого не осталось. Его долговязая фигура выделялась, возвышаясь над согбенными старушками. Никто не голосил, не валялся без чувств. Старые подруги Екатерины Романовны лили тихие женские слезы, крестясь и косо поглядывая на Григория. Он тупо смотрел на восковое лицо своей бабушки, такое родное и такое теперь далекое. В этот жаркий июльский день он был одет в рубашку с длинными рукавами. Он обливался потом, смешивающимся со слезами, то и дело почесывая то одной, то другой рукой сгибы локтей. Три дня он

не выходил из квартиры, три дня не отзывался на звонки своих горе-друзей, не открывал им дверь. Сейчас Григорий удивлялся, что ломки не ощущалось, мыслил он ясно. Только теперь он понял, что остался во всем свете совершенно один.

Он медленно поднял опухшие глаза. Вдалеке, сверкая золотом, виднелся купол церкви. Ему вдруг вспомнилась та история с Крестом, простреленным молодым бойцом, рассказанная когда-то бабушкой. ...Вот он едет на скрипучей телеге. Солнце своими беспощадными лучами прожигает легкую гимнастерку, жаром до головокружения обдаёт голову. Вот он поднимает тяжелую винтовку, она непослушно тянет вниз... Ловит на шатающуюся мушку Крест... Палец на спусковом курке не слушается... Он не может выстрелить, не хватает сил дернуть курок...

Пот заливал глаза, он склонил низко голову, разжал кулак и еще раз прочитал адрес монастыря, записанный бабушкиной рукой на листочке из блокнота; поднял голову к далеким куполам и перекрестился медленно, с чувством, как учила его в детстве бабушка.

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

I

Старый лебедь-вожак собирался в свой последний путь. Время засуетилось: дни стали короче, темные ночи, подгоняемые торопливыми заморозками, хоть и тянулись лениво, вразвалочку, заставляли обитателей бескрайней тундры просыпаться еще до рассвета и, зажигая задержавшуюся зарю предрассветным гомоном, предвещать близость дня. Бесконечная стылая ширь наполнялась прелюдией великой мелодии жизни. Все напоминало о приближении Великого перелета — последнего в жизни вожака. Годы пролетали быстрым галопом, отбирая силы и уверенность в себе. Вслушиваясь в привычный гомон, он озира́л еще пока острым оком бесчисленное свое племя. Бесчисленное... Стая за его время приумножилась, и он, облетая Большое озеро, с гордостью оглядывал белое шевелящееся голосистое пятно посередине. Перед отлетом птицы сбились в единую стаю и ждали команды. Они шумно перекликались и, собираясь в опасный и долгий путь, предпринимали последние приготовления. Родители кружили вокруг своих возмужалых, но еще не выбеленных, сероватых юнцов, о чем-то громко толкуя, щипали их то за крыло, то приглаживали перо на спине, словно подбадривали их, вселяя уверенность перед первым, а значит, и главным перелетом. Вожак знал каждого. Пробные ежедневные полеты придавали уверенности молодежи. С каждым днем все

ровнее держался клин, наливались силой молодые мускулы. Но многолетний опыт предсказывал печальную неизбежность потерь. Не все вынесут непомерные нагрузки, не все доберутся до Теплой воды.

Вожак вытянул шею, крепко ударил крыльями, вздыбив воду, приподнял крепкую крутую грудь; из его горла вырвался трубный, надорванный, призывный клич. Через мгновение отозвался громкий и чистый юный голос, резкие хлопки сильных крыльев отбили эхом от небосвода.

«Хорошим вожаком будет. Всегда начеку», — старый лебедь сложил крылья, стряхнув капли воды с гладкого оперения.

И только теперь вся стая пришла в движение. Пространство над озером наполнилось многоголосьем: «Готов! Готов! Готов!..»

Разбегаясь и отталкиваясь от воды, хватая крыльями встречную волну порывистого ветерка, старый вожак окончательно утвердился в решимости вести стаю на Дальние озера. Сын должен знать те тихие озера, где когда-то он появился на свет. В тот год впервые вожак увидел высокую, увешанную огнями вышку. Постоянно зудящий гул тревожил прилетевших птиц. Тогда в глазах своей подруги прочитал он беспокойство и страх. Она не искала, как обычно, место для гнезда. В состоянии постоянного напряжения вглядывалась в сторону, откуда доносился шум. Так вели себя и другие птицы. И тогда вожак и его молодая и сильная подруга решились на поиски новых мест для стаи, где будут они в безопасности и где достаточно пищи для будущих детенышей. Много дней с напряжением ждала стая своих разведчиков. На исходе недели вернулись они уставшие, чтобы после короткой передышки увести племя на Дальние озера. Время не ждет. Весенне-летнее добропогодье скоротечно. Сливается

весь период гнездования, вскармливания малышей в один северный день. И только когда молодь станет на крыло, появляются сначала предосенние сумерки, затем длинные, холодные ночи; и первые забереги с первоснегом заставляют птиц сбиваться в стаи, второпях покидать родные места.

Только один раз гнездились на Дальних озерах. На следующий год вышка исчезла, тревожащих звуков не стало, и лебеди снова вернулись на свои старые, насиженные места, на свое Озеро.

Этим летом снова появилось тревожное жужжание и гул. В озере, что неподалеку, появилась насыпь, вода замутилась мертвой ржиной. Нет покоя, не стало той привычной тишины.

«Он должен знать Дальние озера». Вожак вел стаю на восток. Он замечал, как его сын — сильный, стремящийся к независимости красавец лебедь, меняясь с ним местами, трубил громче и требовательнее, чем обычно, но послушаться не смел и, возглавив стаю, вел ее заданным курсом, не пропуская, однако, случая проявить свою силу и удаль. Однажды он дерзко подрезал старого вожака и резкими хлопками мощных крыльев вызвал такой вихрь, что вожак с трудом удержал равновесие.

Опытному вожаку было ведомо, какие чувства бунтуют в юной груди. Он уже готов стать вожаком. В молодости и он так же демонстрировал силу своему отцу, обращая на себя внимание, но отец не принимал вызова. Пришло время, и старый уступил главенство молодому и сильному, но только тогда, когда ветер нетерпения выветрился окончательно из его молодой головы.

Старый вожак удержался, не потерял равновесия, не сломал ровную линию ключа. Крылья инстинктивно уловили упругую волну, нашли опору, вырвавшуюся из-под сильных

взмахов ведущего. Он передавал эту волну следующим за ним птицам. Как по эстафете, она прокатывалась в самый конец клина. Голова и грудь не чувствовали сопротивления, мышцы отдыхали, накапливая силу для следующей смены. Впереди шел молодой и сильный ведущий.

Только к вечеру показались Дальние озера. Непрерывный лес вдоль реки разрывался все чаще встречающимися болотами, затем лесистые гривы стали попадаться реже и уже остались далеко позади. Впереди показалась знакомая неровная черта большого озера, островерхие чумы на берегу глубокого залива. Пространство над озером заполнилось беспорядочным трубным гоготом. Вожак заметил, как замерли олени внизу, подняв головы, как застыли люди, наблюдая за белыми птицами. Он выхватил взглядом даже ту девочку, что когда-то подходила к самому гнезду, узнал ее отца. Стая, перестраиваясь на ходу, шумно пошла на долгожданную посадку. Стылая вода вспенилась белыми бурунами. Убедившись, что стая заняла середину озера и находится в безопасности, старый лебедь повернул голову в сторону сына, встретил понимающий и благодарный взгляд. Понял! Хороший будет вожак. Рядом с молодым сильным лебедем, прижавшись шеей, держалась его подруга.

Еще не погасли звезды, только обозначился восток еле заметной светлой полосой вдоль низкого горизонта, как хрипло прозвучал призыв готовиться в путь. В холодных тающих сумерках шумно захлопали крылья, и утренняя перекличка разорвала застывшую тишину, громогласная гортанная многоголосица заполнила надозерье, распространяясь по низким кочкарникам. Все живое проснулось, разбуженное прощальной песнью, возвещавшей миру о начале Великого перелета. Точные и безотказные природные куранты пробили смену караула. Тепло оборвалось, как тонкая ненадежная

нить, уступив напору северного ветра, бесконечным серым тучам, стремительно несущим снежные метели прямо на хвостах улетающих птиц. Бесконечные вереницы еще неровных ключей устремляются туда, где солнце греет ласковее, где теплые воды тихих заливов не замерзают круглый год, принимая нескончаемые вереницы уставших птиц на постой до следующей весны.

Нет в мире человека, который не остановился бы в пути, услышав трубный лебединый клич, не бросившего самое интересное занятие ради любования величием воздушного шествия могучих птиц. И стоят влюбленные от крайних северных пределов до южных широт с открытыми ртами, улавливая в лебединой песне то щемящее чувство чистоты любви и помысла, без чего не мыслимо простое человеческое счастье. Для многих жителей дремучих лесов, бескрайних тундр перелеты птиц — точные часы. Здесь время меряется сезонами. Весна начинается перепевами первых перелетных птиц. И, словно разбуженная разноголосьем, природа вскипает бурно, через край. Весна-лето сплетаются тесным клубком. Время прессуется в единый миг... в одночасье же прерываемый последним горловым криком последнего лебединого ключа.

Стоят замороженные отец и маленькая дочурка среди безбрежной тундры, провожая взглядами белых лебедей.

— Папа, а куда улетаю лебеди? — спрашивает маленькая Айнэ у своего отца.

— В сторону полуденного солнца, дочь. Далеко отсюда, где солнце ближе к Земле подходит, где тепло и зимой и летом, где снега не бывает.

— А что, есть такая земля, где не бывает снега? — удивляется Айнэ.

— Есть такая Земля. Наши богатыри когда-то ходили в те земли. Море там теплое, вот и летят птицы туда на зиму.

— А они вернутся?

— Да, вернутся, дочь. Они здесь родились. Это их родная Земля.

Айнэ машет красным платком:

— Возвращайтесь, я буду вас ждать!

— Они вернутся, не беспокойся, Айнэ, — отец гладит дочь и тоже смотрит вослед птицам. — Вечные странники...

— А как они дорогу найдут, — сомневается Айнэ.

— У них вожак опытный и сильный. Он уже не раз проделал путь к Теплой воде. Ты же помнишь его: мы к его гнезду подходили.

— Помню. Он большой, важный такой, — и Айне изобразила его. — Я буду ждать! — крикнула она и снова замахала платком.

Птицы словно слышали маленькую девочку, затрубили громко, протяжно, набирая высоту.

II

Не крики, а стоны отчаяния и безнадежности послышались внизу. Стая пролетала над своим родным Большим озером.

Почему мудрость так беспощадна? На смену чувству пришло знание. На смену уверенности пришло сомнение, вместо молодецкой удалы — трезвый расчет. Знание жизни порождает новые тайны, на проникновение в которые уже нет ни сил, ни времени, ни даже стремления. Вожак знал наверняка, что те юнцы, так и не достигшие зрелости, что так неистово горланят, беспомощно и неумело бьют своими слабыми крыльями студеную свинцовую воду, так и не поднимутся никогда в небо, не испытают счастья полета, останутся

замерзать в этом краю — родном, но, увы, суровом и безжалостном. Материнские крики призывно рвали пространство в клочья, дети их там, внизу, беспомощно превращали в пену серую воду. Еще долго по направлению движения ключа виднелись белые пенные черточки на сером фоне Большого озера. Скоро не стало видно озера. Замолкло нескончаемое тундровое бесконечье. Стройный клин, вытянувшийся почти равномерно в разные стороны, продолжал свой путь, повинаясь Великому закону природы.

Оглядывая с высоты знакомые изгибы озер, бесконечные лесные ковры, вожак вел свою стаю на юг. Запах земли временами дотягивался с мощными потоками теплого воздуха. Это были знакомые запахи хвойной тайги, грибов, мшистых болот, спелых ягод. Земля словно помогала в такие моменты летящим птицам, поддерживая их восходящей волной пьянящего воздуха. Крылья улавливали эти волны, находя в них твердую опору.

Все реже и реже мелькают болота своей рыжиной, чаще встречаются поселки, города, появляются первые поля, пастбища. Пора искать место для отдыха. Вожак напряженно всматривается вдаль. Вот и знакомая лента могучей реки, вот зеленые луга и большое, поросшее зеленью озеро с множеством заливов. Звучит долгожданная команда снижаться, и все пространство наполняется беспорядочными криками радости. Вырываясь из-под крыльев пикирующих птиц, потоки воздуха дополняют зычное горловое гоготанье шумом мощного штормового порыва.

...И снова в путь. Многодневный полет забрал, кажется, все силы. Ноющая боль в крыле все чаще и чаще напоминает о себе. А вот и долгожданный теплый залив, Теплая вода. Но что это? Старого вожака насторожил запах, исходящий снизу. Цветные разливы на поверхности воды уходят далеко к

горизонту. Вдоль обычно безлюдного берега копошатся люди, громыхают моторы снующих катеров.

Собирая последние силы, вожак заложил крутой вираж, хрипло протрубив сигнал тревоги. Стая, поломав четкие линии, повиновалась. Старый лебедь набирал высоту, направляясь через горный хребет в тот другой залив с желтым теплым песком, где он, будучи еще совсем юнцом, останавливался со стайей своего отца. Стая заволновалась, разбилась на несколько ключей, но следовала за вожаком. Стая верила ему. Он знал, что безопасное место там, за перевалом, и, подбадривая уставших за время великого перелета птиц, громче обычного трубил, звал за собой.

Уже в наступающих сумерках показался красный залив, отражая огромное солнце, наполовину отрезанное ровной линией горизонта. Рубиновые брызги теплой морской воды, поднятые розовыми крыльями, рассыпались множеством огненных искр. Гомон вскоре умолк вместе с быстро наступившей темнотой.

Так же стремительно настал рассвет. Короткая ночь не восстановила силы. Старый вожак тихо отделился от стаи, разогнался, оттолкнулся от поверхности теплой воды. И только набрав высоту, громко затрубил. Эхом отбился от скал его скорбный крик. В ответ он слышал чистый, громкий и такой знакомый голос. «Хорошим вожаком будет» — узнал нового вожака старый лебедь.

Он взял направление на север. На исходе изнурительного перелета он увидел ТОТ перешеек между озерами. Он пролетел над тем одиноким деревом, из-за которого блеснуло пламя выстрела в ТОТ вечер... Вот и ТОТ пролив, куда бело-розовым пятном упала его подруга...

* * *

Он поднимался все выше, ввинчиваясь в голубое безоблачное небо. С каждым витком силы его таяли, воздух терял упругость. Крылья временами проваливались в пустоту, и тогда только дополнительными сверхусилиями удавалось удерживать высоту. До хруста в суставах вожак налегал на натруженные крылья, улавливая малейшее дуновение спасительного ветра. Высоко, где-то за границами реального восприятия, ему грезилась лебедушка, манящая его в безмерную синь. Зов ее такого знакомого и родного голоса придавал силы, заглушал боль в крыле...

Он уже видит ее...

Еще несколько взмахов, еще усилие...

Вот она рядом ...

И он ощутил ее тепло...

И она обняла его своими белыми крыльями...

* * *

Всяк, увидевший плывущих лебедей в синем небе:

— сними с себя корону царя,

— поклонись в пояс, уйми гордыню свою,

— не оскверни душу свою неоправданным злом, улыбнись вослед...

I

Начальник следственного отдела БХСС¹ линейной милиции старший лейтенант Роман Савельевич Силин не находил подходящих слов для начала разговора. Перед ним сидел директор железнодорожной школы Герман Николаевич Лебединский. В прошлом году на него уже приходили анонимки, притом — дважды. Тогда разбирался старший коллега Романа Савельевича капитан Кислицин. Был звонок сверху, и делу, как говорят, дали ход: директора школы потрясли по полной программе. Кислицин, выполняя генеральское наставление, проявил тогда рвение — ждал очередного звания. Анонимка не нашла подтверждения, но седых волос учителью прибавила.

Несколько сутулясь, опустив низко плечи, словно под грузом, Герман Николаевич смотрел себе под ноги. И только когда следователь обратился к нему, вскинул брови, не поднимая головы.

— Я вызвал вас, Герман Николаевич... — следователь заппулся, подбирая слова.

— Снова анонимка? Ну, сколько можно? — Директор школы почувствовал, что заводится, откинулся на спинку стула.

— Вы угадали.

— И в чем же на сей раз меня обвиняют? Что я натворил такого? Могу я знать? Вам не противно заниматься этим? Вы

¹ Отдел БХСС (ОБХСС) — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.

же должны понять, что все это ложь, ерунда на постном масле. Я еще не знаю, что написано в этой... гнусной кляузе, но мне уже противно, — третья за два года! Кому я так неугоден? — Герман Николаевич встал и прошелся по кабинету: два шага влево, два шага вправо.

Назвать кабинетом отгороженную комнатушку в железнодорожном вагоне можно было с большой натяжкой. Сейф за спиной следователя в одном углу, самодельная тумбочка с пишущей машинкой — в другом придвинули узкий стол близко к двери. Для посетителей оставалось пространство, ограниченное двумя шагами от портрета Карла Маркса на левой стенке до портрета Фридриха Энгельса на правой и шаг до двери.

— Я проанализировал две предыдущие анонимки и, ознакомившись с настоящей, пришел к выводу, что...

— Они написаны одной рукой? И вы меня, наверное, хотите спросить, есть ли у меня такой «доброжелатель»? Так ведь? — перебил следователя Герман Николаевич.

— Да.

— После вашего вчерашнего звонка я ночь не спал. Я понял, о чем будет речь. Все передумал. На работе, среди учителей, я не вижу такого человека. Да, я бываю строг и взыскателен. Возможно, есть недовольные, но на такую гнусность никто в школе не способен. На мою должность никто не претендует. Кому нужна эта головная боль? У меня нет явных врагов и за пределами коллектива...

— И все же подумайте.

— Что тут думать, я уже все передумал. Черт знает что! Я уроки не могу проводить. Вчера уравнение выскочило из головы. Перед детьми стыдно, — директор бросил взгляд сначала на одного, потом на другого идеолога коммунизма, — всякая дрянь в голову лезет. Я прошу, Роман Савельевич... Я

ведь знаю вас, слышал от людей много лестного... Защитите мое имя. Я не мог просить об этом капитана Кислицина...

— Майора.

— Пардон, не знал. Таких, как Кислицин, начальство любит. Ничего святого — только б выслужиться...

— Значит, не знаете, кто мог написать? — перебил его Силин.

— Нет. Вы можете показать само письмо? Кислицин не давал мне читать те доносы. Сами-то вы знаете, кто сочиняет?

— Знаю, — следователь открыл папку, протянул Герману Николаевичу серый листок бумаги с напечатанным текстом.

Герман Николаевич внимательно вглядывался в знакомый шрифт, лицо его то вытягивалось, выражая удивление, то багровело от негодования. В голове сделалось пусто, только уродливые строчки, волнообразно пошатываясь, лезли своей грязной назойливостью в душу. Он часто останавливался, переводил взгляд на следователя, плывущего в сигаретном дыму, словно спрашивал: «И вы этому верите?!»

«...Прошу обратить Ваше внимание на то, что товарищ Лебединский в этом году построил гараж и, как мне известно, полностью выплатил полагающуюся сумму. А сумма не маленькая. Советую Вам поинтересоваться. Вопрос: откуда деньги? Ответ смотрите выше.

Не подписываюсь, потому, что опасаюсь, что это может отразиться на успеваемости моих детей».

— Во дает! — воскликнул директор, узнав знакомый шрифт. — Вот негодяй! И дети у него вышли из школьного возраста.

Он еще раз пробежал глазами по старательно напечатанной «телеге». Угадывался стиль хорошо владевшего своим жанром человека.

Буква «е» печаталась выше строчки, просекание буквой «о» почти насквозь до боли знакомо, местами на ее месте зияли дыры. Герману Николаевичу не единожды приходилось читать акты, предписания, напечатанные на этой машинке и на таких же серых листах. Он даже знал, где хранятся пачки этой неликвидной бумаги.

II

Сорокапятилетнего пожарного инспектора Душковича Давида Ильича, круглое и всегда красное лицо которого никак не гармонировало с его долговязой фигурой, побаивались в поселке многие. Руководители всех учреждений трепетали перед инспектором, и он уже привык к такой разновидности почитания. Для проверки пожарной безопасности он появлялся всегда неожиданно и всегда с большим саквояжем, в котором один отдел занимали бумаги: протоколы, предписания и циркуляры; а более просторный — как бы случайно «зевал» своей раскрытой «пастью», пока догадливые проверяемые не ублажат его. Особую «благосклонность» Давид Ильич проявлял к столовым и продовольственным магазинам. После очередной проверки, «накрутив хвост» недовольным заведующим, не заботящимся о «социалистической собственности», «не замечая» округлившего брюшка саквояжа, отправлялся в свой кабинет писать очередной акт.

В кабинете он проводил большую часть жизни. Почти квадратная комната, четыре на четыре метра, имела одно окно. Немного покосившееся, оно через большой пустырь смотрело на облезлые железнодорожные вагоны в тупике — временное жилье для приезжих специалистов. Всегда плотно занавешенное одеялом, взятым в детском садике, окно тусклым бельмом вы-

глядывало на чуждый ему мир. Самодельная мебель из коричневой финской фанеры, медицинская кушетка, отданная в качестве откупной главврачом поликлиники, встроенный самодельный шкаф, хранивший ворохи пыльной серой бумаги, и старинная пишущая машинка, найденная инспектором на свалке и отремонтированная местным умельцем, — вот, пожалуй, все, что формировало интерьер кабинета Давида Ильича. Нельзя еще раз не упомянуть маскировавшее окно клетчатое одеяло, прибитое большими гвоздями, служившими для развешивания разных проводков, прокладок для лодочного мотора и фирменного кителя с блестящими пуговицами. Местами клетки на одеяле, особенно по краям, теряли свои очертания и лоснились темными пятнами от частого употребления его вместо ветоши. Полуразобранный мотор лежал тут же, прикрытый застиранной простыней с расплывчатым клеймом «общезитие».

Хозяина почти всегда можно было застать за пишущей машинкой в правом углу темного кабинета. Настольная лампа бросала огромную паукообразную тень на противоположную стену. И портрет Сталина, приклеенный на грязные обои, таким образом озирает прямо из середины «насекомого» темный куб серого кабинетного пространства.

Лебединский явственно представил себе инспектора, положил бумагу на стол и поднял глаза на следователя.

— Ну? — Роман Савельевич затянулся и выпустил клубы дыма в сторону открытой форточки, встал и выбросил окурок на улицу, вслед потянувшемуся облачку. Он вопрошающе смотрел на директора школы.

— Не может быть. Этого не может быть... За что? Что я ему такого сделал? Я ничего не могу понять. А может, просто кто-то воспользовался его машинкой? — спросил тот, пытаясь хоть как-то оправдать действия пожарного инспектора, с которым не раз делил последнюю краюшку на охотах. — Не хочется верить.

— Придется. Я уже все проверил — это он. Точно он. И факты, изложенные в письме, проверил прежде, чем вам позвонить. Не подтвердились. Осталось только составить официальный, так сказать, оправдательный отчет. Вот бумага. Изложите все по пунктам согласно анонимке. Попрошу только сухие факты, цифры — без лирических отступлений.

— Этому меня уже обучил ваш коллега. Третья «телега» на меня. Спасибо, что наконец разобрались...

— Ну, ладно, хватит ломать комедию. Помнится, мы с тобой раньше были на «ты», — Силин снова закурил и, пока директор школы старательно писал, открыл сейф, достал бутылку водки, стаканы, хлеб в полиэтиленовом пакете и стал охотничьим ножом открывать шпроты.

— Позволь...те глянуть, — Герман Николаевич взял из рук следователя нож, — хорошая работа.

— Зэки сделали.

Напряжение, царившее до сих пор, улетучилось. Герман Николаевич и Роман Савельевич знали друг друга: поселок-то небольшой. Они были близки по возрасту. В глубине души директор школы надеялся на беспристрастное разбирательство, но все же такой благополучной развязки он не ожидал. Благополучной ли? Узнать, что доносы писал твой товарищ, конечно, тяжело и больно. Но не зная этого и каждый день пожимать протянутую для приветствия руку...

III

В первой анонимке Герман Николаевич обвинялся в том, что подрабатывал рубкой кустарника вдоль железной дороги.

Ничего, казалось бы, предосудительного нет в том, что человек стремится подработать в свободное от работы вре-

мя, тем более что учительская зарплата постоянно подталкивает к поискам подпитки семейного бюджета. За консультации, дополнительные занятия с учениками по штопанью прорех в их математических познаниях денег учитель не брал. Уроки хоть сутками проводи: оплатят из расчета полутора ставок. Герман Николаевич иногда шутил: «Двойное несчастье в семье: муж — учитель, жена — врач».

Вот с хирургом Иваном Ивановичем и подрядился директор школы рубить кустарник, вызволяя стальной путь от наползающей поросли. Каждый летний вечер, вооружившись секачами, выкованными местным кузнецом за жидкую валюту, два друга отправлялись на стареньком мотоцикле далеко за поселок (поблизости участки уже были распределены). До темноты в придорожной пыли секли они пружинистый ивняк, непослушный густой березняк. Местами рос сплошной шиповник, который, цепляясь за одежду, оставлял свои колючки в плотном брезенте спецовки и в натруженных ладонях. Работа оплачивалась щедрее учительского и врачебного труда и давала надежду разжиться на одежду детям к предстоящему учебному году. И то правда: заработали они за две недели по три своих месячных оклада. Руки поселковых интеллигентов огрубели. Натертые мозоли Германа Николаевича нагноились, и друг-хирург по ходу дела лечил его. Пришлось вскрыть гнойник и делать перевязки, но работу не прекращали и закончили в срок.

— Мои бы путейцы так работали, — искренне восторгался начальник дистанции пути.

Но радость учителя была недолгой: кто-то настроил донос. Оказывается, он получил деньги нечестным путем: расценки завышены, участок достался по блату. Еще он обвинялся в том, что отдал машину школьного угля своему другу за самогонку.

Капитан Кислицин разбирался дотошно и с пристрастием, хотя с самого начала было видно, что дело шито белыми нитками. Промеряли площадь вырубленного кустарника, проверили расценки, и оказалось, что еще не доплатили какие-то копейки за выполненную работу интеллигентам-дровосекам. К качеству порубанной поросли тоже претензий не было. И с углем разобрались: отдал директор машину угля, предназначенную для школы, инвалиду Отечественной войны Копылову Ивану Ивановичу. Запасы в школьной котельной еще были, а отцу друга-хирурга нечем было согреться в наступившие рано холода. Правда, через две недели полагающийся Ивану Ивановичу уголь завезли в школу. Все вроде в ажуре, но истинное положение дел устанавливали путем допросов учителя, его коллег, самого Ивана Ивановича старшего, после чего тот слег в больницу: всплыла-таки самогонка. Да и как не всплыть. Никто и не скрывал, что затопили баньку, чтобы смыть угольную пыль, и, как водится, поужинали с первачком. Еще и Давид Ильич напросился в баньку.

— Баньку топим? — спросил он, проходя мимо.

— Топлю, Ильич, топлю. Вона, хлопцы уголь помогают... дай Бог им здоровья... Самосвал вывалил на дороге... Герман свой уголек отдал... — Иван Иванович, задыхаясь, обрывал фразы, отдыхал, навалившись на забор: старость не радость.

Герман Николаевич с Иваном Ивановичем младшим (обычно друзья звали его просто Иваном) заканчивали работу: осталось пара-другая носилок. Они издалека поприветствовали Давида Ильича, помахав грязными руками.

— Так можно будет попариться? — инспектор посмотрел на стелющийся по земле дым.

— Приходите, пару на всех хватит.

Хоть и некстати напрашивался в баню Давид Ильич, но что поделаешь.

— Спасибо за приглашение, обязательно приду, — с какой-то напускной важностью сказал пожарный инспектор и поднял свой пузатенький саквояж.

И он пришел, и парился, и угощался крепкой самогонкой.

Между заходами в парилку друзья, как водится, костерили Горбачева за «сухой закон», строили прогнозы на предстоящую зиму в плане охоты. Литровая бутылка самогонки развязала языки. Все свои — чего бояться.

— Хороша самогоночка, — Давид Ильич, вытирая тыльной стороной руки распаренные губы, морщился для порядка и хрустел соленым огурцом.

— Сам сделал, — гордо сказал Иван Иванович старший и посмотрел на дверь, словно чего испугался. — Время, видишь, какое: узнают — не поздоровится. А мне никак без нее ока-янной... Нет, не то чтобы пьянствовать ее: для другого дела нужна. Вот, к примеру, уголек привезли, в стайку ребята весь перетаскали. Сколь трудов... Нешто я один бы справился? А опосля трудов самогоночки, да с баньки-то...

— Это дело не последнее, дед, — сын Иван устало смахнул с красного лица струящийся пот.

Вызов в милицию для старого фронтовика был неожиданным. Столько позора за всю его долгую жизнь он еще не знал. Самогонный аппарат, сделанный из молочного бидона, стоял прямо в сенях не прикрытый. Изымали в присутствии понятых. Оскорбительные, изнуряющие допросы следователя Кислицина вконец разладили и так не отличавшееся крепостью здоровье. Инфаркт, уже второй по счету, срубил старика прямо в милиции.

Герман Николаевич выдержал, но и он ходил чернее тучи. Его выводили из равновесия нелепые обвинения в «незаконно» полученных деньгах, в «краже» угля и других прегреше-

ниях. Но более всего директора школы тревожило здоровье Ивана Ивановича, которого он уважал, как своего отца. Свой-то тоже прошел ту войну и умер безвременно: еще ни одна война не продлевала век воинам.

Теперь многие неизвестные обрели конкретность, свое значение и все стало на свои места. Стало понятно, почему «доброжелатель» во всех трех анонимках так подробно освещал некоторые детали из жизни директора. Понятно, откуда взялась эта литрушка самогонки, отнявшая здоровье ветерана.

Вот кто организовал жалобы от родителей в управление. Они тоже не подтвердились, но тяжелый осадок после многочисленных проверок долго еще отдавался болью в сердце, лишал сна и покоя. Герман Николаевич даже хотел уволиться и уехать, но начальник его управления слушать не хотел. Он, помнится, сказал: «Кто-то только и ждет, что сломаешься. Не делай такой подарок ему. Я тебе верю». Эти слова вселили уверенность, не дали упасть духом.

— Чем же ты провинился перед Давидом Ильичом? Меня это интересует, как следователя. Что, в конце концов, вдохновляло его на «телегописательство»? — старший лейтенант посмотрел в глаза собеседнику.

— Я, кажется, понимаю, но ведь я дал слово никогда об этом не рассказывать.

— Ну, как знаешь. Я хочу выпить за окончание этого грязного дела. Я ведь и предыдущие «телеги» поднял и ознакомился с материалами. Тяжко тебе пришлось, Герман. Поэтому без тебя разбирался, не хотелось лишний раз резать по живому. Кислицин-то выполнял задание сверху. Доносы все писались на имя генерала Полторанина, с которым раньше Давид Ильич работал в Тобольске. Генерал нынче в отставке, а новому начальству майор не глянулся. Обрато к нам в ли-

нейную милицию наш начальник не взял. Запил Кислицин с горя. Списали его с формулировкой: по состоянию здоровья.

IV

Граненые стаканы глухо брякнули. Не выпитая водка, не груз, свалившийся с плеч директора школы, а тяжелое разочарование просилось наружу исповедальным разговором. Герман Николаевич молчал, поглядывая на следователя, будто решал сложную задачу со многими неизвестными. Но все иксы и игреки уже не ходили в неизвестных. Осталось огласить условие задачи. Впервые математик решал задачу с конца, нарушая логичный ход замысловатой комбинации.

— Так и быть, — решительно сказал учитель, — расскажу. Кажется, Душкович сам избавил меня от обета молчания. Слушай, Роман, я теперь его на порог школы не пушу, — завелся снова учитель.

— Он пожарный инспектор, так чтопустишь — никуда не денешься. Ну, так какая кошка пробежала между вами?

— Это было два года тому назад. Мы с Душковичем на Высокой гриве, что недалеко от нашей избы, нашли берлогу. Случайно. Тропили зайца по первому снегу и нашли в буреломе свежий медвежий след. Следы, петляя, пересекались во многих местах. Медведь топтался на месте. Значит, берлога где-то рядом. Мы разошлись на расстояние шагов двадцать, держа ружья на изготовку. Нужно было распутать следы и найти точное расположение берлоги, заметить место и тихо уйти, не потревожив хозяина. Вдруг Душкович остановился и стал делать мне знаки. Я подошел к нему и увидел метрах в пятнадцати свежеврытую землю, кучу мха. Сам медведь, видимо, отдыхал в берлоге, а может, вымачи-

вал мхом свое ложе и не слышал нас. Мы ножом срезали несколько тонких березок, сосенку повыше, с учетом того, что зимой насыплет снегу, и тихо по своим следам вышли из гряды, оставляя метки на стволах деревьев. Только отойдя на значительное расстояние, остановились на перекур. Меня поразило, что Давид не мог прикурить, так у него дрожали руки. Слица его схлынула привычная краска, оно сделалось бледным и даже пугающе серым. Я тогда не придал этому значения, потому что и сам испытывал состояние крайнего возбуждения. Третий год я искал берлогу и не мог найти, а тут такая удача. И зверя не потревожили, и место заметили. Все сделали чисто.

Следователь одобрительно кивнул головой.

Герман Николаевич, успокоившись, вел свой рассказ не спеша, красноречиво жестикулируя руками.

— Я предложил Давиду Ильичу на будущую охоту взять в напарники Ивана.

Следователь снова кивнул одобрительно.

— Иван — надежный мужик и охотник, каких мало. Раньше мы с ним не раз на охоту ходили. Его отец гончую держал, — может, помнишь? Кобель — вот такой, — учитель положил ладонь на угол стола, — по пять зайцев из-под него стреляли за один день. Поездом его зарезало.

— Знаю, тоже охотился с ним, — сказал старший лейтенант, разгоняя рукой дым.

— Ну вот, значит, Душкович сначала и слушать не хотел о третьем. Зачем, мол, делиться добычей, но потом все же согласился. Тем более что у Ивана лайка отменная есть — Карай. Ну, ты знаешь.

Следователь снова кивнул.

— На берлогу собрались в начале декабря. Мы уже заранее выстроили схемы размещения, обговорили разные вари-

анты. Накануне зарядили свежие патроны. На зверовых охотах, сам знаешь, старые патроны лучше не использовать.

Роман слушал рассказ внимательно, время от времени тихо наливал водку по стенке и так же осторожно ставил перед рассказчиком, предварительно приготовив закуску.

...По зарубкам нашли берлогу быстро. Карай указал точное место: шерсть вздыбилась по хребту, пес зарычал, попятился назад, затем, словно одумался, подбежал к небольшому отверстию, уходящему под осиновую колоду, и басовито залаял. Что-то новое наметилось во взлайке опытной собаки. На белку он обычно повизгивает, глухаря держит непрерывным азартным лаем, а тут — короткие яростные полайки и рык низкий, как раскаты грома, катились из его полураскрытой пасти, прерываемые короткими прихлебываниями.

«Ну, вот показал нам — здесь миша, — глухо и даже торжественно сказал Иван, — свое дело сделал. Дальше он нам не помощник — на зверя не научен. Он у меня мастер по пушнине, боровой».

Охотники остановились перед берлогой, образовав полукруг, держа на изготовку ружья. Пес еще немного порычал и успокоился. Он лег, положив голову на вытянутые вперед лапы. Глаза его безотрывно смотрели в темную дыру в рыхлом снегу. Над отверстием куржаком нависал слоистый снег. Толстая осиновая лесина снизу темнела ровным краем, наполовину закрывая вход в берлогу.

Почти не сговариваясь, охотники сняли лыжи и начали утапывать снег от берлоги до предполагаемых «огневых позиций». Пушистый снег в начале зимы едва доходил до колен, поддавался легко. Протапывая дорожки, не сводили глаз с еле заметной норы под куржаком, уходящей под поваленную осину.

— Давид Ильич вдруг предложил новый план охоты: стреляет он первым, а мы, если понадобится, только после

него, — продолжал рассказ Герман Николаевич. — Раньше мы обговаривали, что стреляем мы с ним вместе, в надежде, что четыре пули положат зверя на месте, и только после, в случае необходимости, добивает зверя Иван. Нас хоть и удивил такой поворот событий, спорить не стали: не время. Тем более, что Душкович стреляет довольно прилично: раньше занимался стендовой стрельбой. Я сам видел, как он уток влет кладет — засмотришься.

Герман Николаевич встал, шагнул влево, по-армейски развернулся на месте, сделал шаг-другой и в упор встретился глазами с бородачом в фабричной рамке. Его взволновали воспоминания двухлетней давности. Чувства учителя метались между ненавистью к «доброжелателю», заставившему его посмотреть на окружающее с какой-то вывернутой стороны, где циничная лож распинала на голгофе клеветы и напраслины все праведное, и жалостью к человеку, снедаемому червоточиной собственной ничтожности. Слова плохо подбирались. Уж сколько передумано, сколько раз в кошмарных снах он впивался пальцами в густую шерсть, сколько раз заглядывал он в те налившиеся кровью глаза зверя и просыпался в поту; но впервые устами своими, словесно пытался передать пережитое и наболевшее. А ведь стало уже забывать-ся, и казалось, никогда и не вспомнит он ту охоту.

Прикуривая сигарету, погрузился в воспоминания и не заметил, как следователь позвонил Ивану. Словно отрешившись от всего земного, уставившись в окно, учитель продолжал свое повествование.

Хозяин тайги не хотел выходить из своего належащего места. Его пугал яркий до рези в глазах свет, пробивающийся столбом, зычный лай собаки, отдававшийся глухо в замкнутом пространстве, громкий хруст снега и еще неизвестные звуки и запахи, доносящиеся сверху.

Толстая лесина ткнулась в бок острым затесом. Вместе с нею ворвался целый сноп чужих запахов. Медведь лапой резко отбросил березовый кол, но тот поднялся и с новой силой больно ударил меж ребер. Там, наверху, ворочали бревно, толкали с размаху в бочину.

Снова они. Никуда от них не деться. Осенью долго медведь искал укромного места — везде шум моторов, по всем болотам и гривам следы этих людей. Нет покоя во всей тайге. Облюбовал высокую сухую гриву с непролазным буреломом, берлогу себе вырыл глубокую, выстелил ее мягким мхом... Нашли... Нет покоя!

Еще раз Иван вместе с Германом попытались провернуть березину. Бревно мотанулось с такой силой, что чуть не уронило охотников в берлогу. Из темноты донесся глухой рык. Они отскочили на свои места, схватили ружья. Пожарный инспектор, устроившись на высокой коряге, все это время не отводил глаз от берлоги, не выпуская ружья из рук.

Сыпануло снегом из-под осинової лесины, отпрыгнул далеко Карай, не знавший раньше зверя. Медведь пошел на Германа. Зверь не поднялся на задние лапы. Он шел неуязвимым клином. Стрелять некуда... Припав на колено, учитель дуплетом послал пули в цель. Прожгло горячими жгутами крепкое тело хозяина тайги, прогнало противной волной застоявшиеся мускулы, приподняло над землей, хватанул медведь передними лапами пустоту. Что-то метнулось в сторону, побежало... Поймать...

— Через мгновение, — продолжал Герман Николаевич, — я увидел то, чего каждый охотник боится больше всего: медведь сидел верхом на чьей-то спине, залитой алой кровью. Я еще не знал, кто попал в лапы зверю. Это кровавое пятно на белом маскхалате до сих пор стоит в моих глазах. Потерять друга на охоте... Нет! Не бывать этому. Уже в прыжке я до-

стал свой охотничий нож и бросил взгляд вправо: Иван перезаряжал ружье, значит, стрелял он... Спереди забежать нужно, отвлечь зверя... Выиграть время... Ильич в опасности.

Нож легко погрузился в живую плоть, по телу медведя снова пробежала волна, но эту волну Герман Николаевич ощутил уже своим телом, медведь с силой тряхнул головой, человек и зверь мгновенно поменялись местами, встретившись, что называется, нос к носу. Прозвучал громкий, словно пушечный, выстрел, огромная туша рухнула всей тяжестью, вминая учителя в красный снег... Бледнеющие губы полураскрытой медвежьей пасти почти касались его лица. Голова медведя лежала на левом плече Германа. Рядом в полный рост стоял Иван. Он отвел стволы от уже неподвижной медвежьей туши. Освободившись от плена, сидел на снегу инспектор и смотрел в упор на кровавый снег. Губы его дрожали, лицо побледнело, осунулось и вытянулось, глаза казались отсутствующими.

Потом выяснилось, что спину пожарного инспектора окрасила кровь смертельно раненного зверя: все четыре пули из двустволок Ивана и Германа попали в цель. Инспектор же остался невредим, только три полосы, оставленные слабеющей когтистой лапой, вздулись лиловыми жилами на его бледном лбу.

— Получается, Ильич не стрелял? Странно... — следователь качнул головой.

— В том то и дело, что не стрелял. Он сказал, что случились осечки с обоих стволов. Нам некогда было разбираться: предстояло свежевать тушу, быстро темнело. А что тебе показалось странным?

— Да я эту историю как-то в пьяной компании слышал от Давида Ильича совсем по-другому: это тебя с Иваном он спасал. «Растерялись, — сказал, — мальчики». Ему тогда не

очень-то поверили... Что-то в его рассказе не клеилось. Все ведь знали и тебя, и Ивана. Теперь мне все понятно.

— Вот гад, а? Надо же так набрехать! — Герман Николаевич снова вскочил на ноги. Два шага влево, два вправо. За метался как белка в колесе. — Как же так? Как можно?

Неслышно открылась дверь, вошел Иван.

— Что тут у вас за собрание? — зычно рыкнул он за спиной.

— Вот, Ваня, нашелся «доброжелатель» — уважаемый наш Давид Ильич... — учитель выдержал паузу, развернулся и посмотрел в лицо другу: — Ведь не было тогда у него осечек... Не стрелял он...

— Я знаю. Он, как увидел медведя, бросил в сторону ружье и побежал. Ты из-за зверя не мог видеть. Я-то хорошо видел и тебя, и его. Медведь всегда чувствует слабого, вот и подмял его.

— И ты молчал?

— Выходит, молчал, — Иван опустил глаза.

— А он нет, он нас на весь поселок ославил. Мы, оказываемся, сбежали, а он медведя завалил и спас нас от лютой смерти! — Герман Николаевич уже плохо владел собой. Ярость больно рвала грудь, била шумно в голову.

Возвращались обратно в зимовье не разговаривая, каждый свою думу думал, прокручивая снова и снова все, что случилось. У Германа Николаевича ныла нога: оказывается, медведь успел схватить его за голеностопный сустав. Спасло то, что челюсть зверя была с одной стороны раздроблена его же первой пулей. Прихрамывая, шел медленно, часто останавли-

ливаясь. Душкович с Иваном подстраивались под него, не спеша шуршали лыжами по протоптанной лыжне. Учитель снова и снова возвращался к происшедшему. Не было осечек. Не могло их быть. Он заряжал свои патроны капсюлями, которые взял у инспектора. Ружье у Душковича надежное — стендовое, еще ни разу не осекалось.

Иван обогнал всех, ушел вперед. Спустившись с высокого берега к реке, Герман Николаевич достал сигарету и, отвернувшись от ветра, чиркнул спичкой. И тут он увидел, как пожарный инспектор, шедший сзади, бросил что-то блестящее в снег. Ему подумалось, что тот выбросил сигаретную пачку. Но она бы осталась на поверхности снега... Нога ныла все больше, каждый шаг отдавался острой болью. Полная луна отбрасывала тень, пошатываясь в такт хромоте.

Ночью в зимовье не спалось. Синело крошечное окно. На столе у самого окошка, притягивая взгляд, стоял круглый фонарик на три батарейки прожектором вниз. Как ни поворачивался учитель, а только откроет бессонные глаза, как тут же ровный цилиндр света словно магнитом притягивает к себе. Не подвластная воле и рассудку сила держит его невидимой рукою и теперь уже не дает сомкнуть глаз и отвести взгляд от окошка. Мысли путаются, размазываются в каком-то тумане. Невозможно сосредоточиться на чем-то одном. То тридцать пар ученических глаз смотрят на него вопрошающе, а он не владеет языком; то идет он на лыжах: ни деревьев, ни кустиков не видать — ровное нескончаемое снегоморье, вокруг ни души, и вдруг косачи или глухари вылетают из-под лыж — черные, большие, а он мажет, мажет... Не выстрелы — щелчки мухобойки гложут в могучих хлопках крыльев дивных птиц.

Герман Николаевич тряхнул головой, видение слетело. Он сел на полатах, в темноте нащупал куртку в подголовье, ногами нашел дежурные валенки, поднялся. Рука сама взяла

фонарик, на ходу ловко сдернул шапку с гвоздя у самого косяка. Скрипнули двери. Луна полным желтоватым блюдцем легла на разложистые вершины понурых неподвижных кедров, оглядывая своим ясным оком заснеженные таежные просторы. Морозец к полуночи поддал, скрип снега эхом отбился от лесной стены за избой.

Фонарик учитель включил, только спустившись по крутому склону к реке. Ногу ломило. Маленькие, еле приметные лунки в снегу нашел сразу, так же быстро отыскал сначала один, потом и другой патрон. Вмятин от бойков на капсюлях не было. Поднимаясь на высокий берег, директор школы увидел сверху силуэт человека в короткой куртке. Душкович, а это был он, сделал пару шагов навстречу и покатился по лыжне прямо на учителя.

— Отдай! — крикнул он на ходу глухо. — Я тебя уничтожу!

Лицо его перекосила злобная гримаса, он угрожающе растопырил руки. Герман Николаевич отшатнулся в сторону, но левая рука нападающего зацепила его. Пожарного инспектора развернуло, и он упал на спину, завалив на себя своего противника. Оказавшись сверху, директор школы сильными руками сдерживал инспектора. Он увидел, как бледный до синевы лунный свет обнажил маску страха и растерянности на лице, еще мгновение назад искаженном гневом и яростью...

— Успокойся, я не скажу Ивану и вообще никому, — сказал я ему и далеко отбросил патроны свободной рукой. — Герман Николаевич закончил свой рассказ, присел на самодельную табуретку.

Иван и следователь смотрели на него, на человека, освободившегося от тяжелого груза, человека, тяжело раненного в самое сердце, человека, обретшего свободу. Иван шагнул в сторону окошка.

— Забыть хочется ту охоту. Противно вспоминать, как он драпал. Германа жалко: столько натерпелся... Три «телеги»... И за что? Что стал невольным свидетелем трусости? — Иван махнул рукой.

Все трое посмотрели в окно. Вдоль железнодорожных путей шел, несколько ссутулясь, Душкович Давид Ильич, в такт шагам помахивая потяжелевшим саквояжем.

— Мужики, — сказал заговорщицки Герман, провожая взглядом сутулую фигуру. Ему вдруг стало жалко пожарного инспектора. — Все должно остаться между нами.

ВЫСТРАДАННАЯ ПОБЕДА

Дверь открылась внезапно. В проеме появились двое. Один — бритоголовый, отжимая могучей спиной толпу, остался в коридоре за громко захлопнувшейся дверью кабинета.

— Слушай, Склиф-а-а-совский, я от Ванька. Он сказал, что ты все можешь...

«Склифосовский», молодой врач Алексей Максимович, смотрел на вошедшего без очереди мужчину средних лет. Дорогой костюм его сидел небрежно, пуговицы пиджака растегнуты, шикарный галстук, завязанный модным узлом, выделялся ярким, но безвкусным пятном. Туфли — последний писк моды — сегодня, а может быть, несколько дней не видевшие щетки, смотрели белесыми бельмами. Небритое круглое лицо, пухлые влажные губы, залысины на коротко стриженной голове и толстая шея выдавали человека состоятельного, избалованного или, скорее, разбалованного.

— Я хотел с тобой тет-на-тет побазарить, — развязно, певуче «акая» на московский манер, продолжал пациент и кивнул в сторону медсестры. Фразы он бросал, как мелочь в шапку нищего. Громко чавкая, месил челюстями жевательную резинку, распространяя при этом запах ментола, замешанный на перегаре. Молчание врача придавало ему еще больше уверенности. Мимолетная неловкость, охватившая его перед дверью кабинета, испарилась, словно облачко сигаретного дыма в ветреную погоду. Своими маленькими глазками

он в упор расстреливал медсестру, еще молодую женщину с округлыми формами. Шагая по кабинету из угла в угол, как у себя дома, он то и дело обшаривал ее взглядом с ног до головы.

Доктор смотрел на него через почти невидимые очки без оправы. Он стеснялся их носить. Ему казалось, что очки его портят, придавая его и так нежному лицу излишнюю интеллигентность и мягкость. Алексей Максимович молча рассматривал неожиданного гостя, пытаясь понять, что ему нужно. Он намеренно молчал, изучая вошедшего таким экзотическим образом пациента. Шестое чувство подсказывало, что дело здесь нечисто.

Медсестра прошла к двери мимо «гостя» и, поравнявшись, посмотрела ему прямо в глаза, улыбнулась, ехидно хмыкнула, характерно кивнув при этом головой.

— Тут такое дело: ружьишко заржавело. Уже неделю как... ну, сам понимаешь, — продолжил гость, как только за медсестрой захлопнулась дверь.

— Ну, снимай пиджачок, и штанишки тоже — знакомиться будем, — спокойным, но уверенным голосом произнес наконец-то доктор. — Он взял телефон, молча набрал номер. — Пиджак на рога повесь, — грубовато, в тон гостю сказал Алексей Максимович, — и штанишки ниже... смелее...

— Ало! Иван? Кого ты мне прислал? Ну, лысый такой... толстый... наглый, как паровоз, с «ржавым ружьем»... Сейчас спрошу. Как твоя фамилия?

— Щипцов, — уже скромнее сказал пациент, — Эдуард Семенович.

— Он у тебя в кабинете? Ты что, при нем?.. — хихикнул Иван в трубку.

— Какой привет, такой ответ... Главное, что он действительно от тебя. А то, я уже хотел... от ворот-поворот... Сле-

лаю все, что от меня зависит, — доктор слушал своего друга и смотрел на раздевающегося Эдуарда Семеновича, — никуда записывать не буду. Я сказал... Ради тебя... Так это ты и есть Щипцов? Наслышан, наслышан... Все газеты только и пишут... — обратился он к пациенту.

Алексей Максимович улыбнулся. Щипцов стоял под оленьими рогами со спущенными брюками. Ветвистые рога, подаренные поликлинике на юбилей другом-охотником, словно росли из его лысеющей головы. Дорогой галстук дотягивался до курчавых зарослей, откуда сиротливо выглядывал предмет беспокойства Эдуарда Семеновича.

— А тебе они идут, — кивнул на рога доктор. — Неделию уже, говорите, Эдуард Семенович? — Голос доктора стал мягче. — Рассказывайте....

Щипцов сбивчиво, смущаясь, употребляя блатную лексику, коротко рассказал доктору о своей проблеме. Доктору теперь он говорил «вы». История не отличалась оригинальностью: «братки», «пойло», «хата», «шалавы» и в конечном итоге «закапало».

— Похоже, «залетели» вы, господин Щипцов Эдуард Семенович. Сделаем анализы и через часок, — доктор глянул на часы, — нет, через два, сразу после приема — ко мне, — уже без иронии, сухо сказал доктор. Если окажется, в чем я почти не сомневаюсь, «насморк» — будем лечиться, если дело пахнет «сифоном», я — пас, — Алексей Максимович лексически старался соответствовать пациенту. — А с медсестрой вам придется все же познакомиться.

Он позвал медсестру, попросив провести «гостя» в лабораторию.

Хотя Эдуард Семенович почти наверняка знал, что «залетел» и внутренне ко всему был готов, слова доктора его расстроили. Два часа пребывал он в тоскливом настроении. Хо-

телось выпить, но предстоящая встреча с доктором не позволяла расслабиться. Доктор не сказать, что понравился ему, но нарываться на его колкости не хотелось. Шилцов, сидя в своем джипе, ощущал себя вселенской жертвой. На носу выборы, и он боялся огласки. Его портреты, расклеенные на всех столбах, несли людям его добрую и честную улыбку. Эдуард Семенович даже поежился, представив, как могут испоганить эти красивые картинки противники, узнав его тайну.

«Доктор вроде надежный. Доктора умеют хранить тайны больных, да Ванек, друг его — у меня на крючке, братаны... вот они у меня где... — И кулак его сжался. — Больше никто не знает...» — думалось кандидату в депутаты.

Вдруг его словно кипятком обдало. Холодный пот выступил крупными пятнами на его лысеющем лбу. «Татьяна, жена... Какой я идиот... позавчера... Зачем полез — ведь знал уже, что не все в порядке. Доктору, доктору нужно сказать... А вдруг пронесет?» Он вспомнил Бога, как вспоминал всегда в трудную минуту. Мысленно просил помощи: «Гадом буду — больше не буду», — скалambuрилось в его туманном мозгу.

Время тянулось медленно, как густой мед из бутылки. Эдуард Семенович нервно курил сигарету за сигаретой и обсыпался холодным потом столько раз, сколько приходила на ум Татьяна.

— Выключи печку! — заорал он на бритоголового водителя, по совместительству исполняющего обязанности охранника.

Доктор встретил будущего депутата спокойно.

— К сожалению, нужно лечиться: гонорея, — сказал он сухо, но, как показалось Эдуарду Семеновичу, с чувством сострадания, — хорошо еще, что обошлось без «букета».

Эдуард Семенович почувствовал себя плохо. Он сел на стул и посмотрел в глаза Алексею Максимовичу:

— Алексей Максимович, я бы не хотел огласки, я заплачу, у меня выборы, я баллотируюсь, — залепетал он, понимая, что говорит не то. Он не знал, как сказать доктору про Татьяну.

— Насчет огласки и оплаты не беспокойтесь. Я ничего не фиксирую, и уж поверьте: ваши избиратели ничего не узнают, а платы никакой я не возьму. Я вами занимаюсь потому, что Иван попросил... Иван! Понятно, господин Щипцов? — снова грубовато сказал доктор. — Так что не суетитесь.

— Не то, я не то хотел сказать. Как быть с женой: я позавчера...

— Что-о-о-о? Ты же сказал, что уже неделю ссать больно... — не выдержал и сорвался на крик и снова на «ты» доктор. — Кстати, такие вещи уголовно наказуемы, статья есть: «за преднамеренное заражение венерическими болезнями».

— Что делать? Подскажите, как быть, — слезно просил Щипцов. Он двигал галстук из стороны в сторону, пытаясь освободить толстую шею. Опухшие глаза, подернутые слезой, казались усталыми, щетина на обвислых щеках с редкой сединой завершала убогий портрет. Щипцов вскочил, сгорбившись прошелся к двери, обратно.

— Может быть, она не заразилась, может, ничего... — продолжал лепетать Эдуард Семенович, на глазах снова заблестели слезы. — Это же скандал... У меня выборы... Боже, она не простит, она красива, она моложе меня на двенадцать лет...

— Так какого хрена от молодой да красивой налево лазить? «Может, заразилась, может, не заразилась», — я не играю в ромашки, мне обследовать ее нужно.

— Она недавно «скорую» вызывала — подозрение на аппендицит. Может, ее обследовать заодно и на предмет... так сказать?... Она и не догадается, — глаза у Эдуарда Семеновича загорелись нехорошим блеском, рот расплылся. Влажные

пухлые губы выражали подобие улыбки, обнажая желтые зубы.

Доктору показалось, что это лицо он уже где-то видел. «Ну, чисто Иуда», — подумал он, вспомнив картину знаменитого художника.

— А вы — интриган, господин Шипцов! Вы, пожалуй, выиграете выборы.

С обеда повалил густой снег, и в кабинете стало темно. Алексей Максимович включил свет. Татьяна Сергеевна, а именно так звали жену Шипцова, сидела напротив. Рука доктора на мгновение остановилась, он поднял глаза на Татьяну Сергеевну. Доктору стало не по себе, показалось, что она знает, зачем пишется направление: хирургу, гинекологу. Его слабо успокаивало только то, что Татьяне Сергеевне действительно необходимо обследоваться и лечиться — ее давно беспокоят непонятные приступы. Женщина отвела глаза, повернула голову в сторону окна. Она задумчиво смотрела на снег, кружившийся по ту сторону прозрачного стекла. Крупные снежинки в бешеной круговерти плясали свой снежный танец, запутывая мысли.

— Ваша супруга здорова, — как-то сказал доктор Эдуарду Семеновичу, — я имею в виду вашу болезнь, ну, а холецистит подлечим.

— Ну и слава Богу! — приободрился кандидат в депутаты. — Она бы бросила меня. Мне сейчас скандал не нужен. На носу выборы.

«Выборы у него. Кретин», — подумал доктор.

Он не мог простить Эдуарду Семеновичу то, что был втянут в грязную игру, но выхода не видел. Судьба его друга зависела от этого «ржавого ружья». Кандидат в депутаты сидел, небрежно откинувшись на спинку стула. Одетый в но-

вый шикарный костюм с иголочки, он излучал благополучие и достоинство. Лицо его, до синевы выбритое, лоснилось и, казалось, вот-вот лопнет. Галстук, подобранный в тон костюму, сидел как литой. Из-под штанин выставлялись ослепительно белые носки, прячась в зеркальных туфлях. По всему было видно, что над Эдуардом Семеновичем поработали немалые деньги. Именно такой — до неприличия приличный, смотрел он из газет, листовок, с многочисленных красочных плакатов на своих избирателей.

«Неужели люди проголосуют за него? — задавал себе вопрос доктор. — А ведь проголосуют».

Алексей Максимович не любил оттепелей. Они обычно сопровождаются «повышением уровня простудных заболеваний». Сегодня день не был исключением. Он устало откинулся на сиденье своей «шестерки». Машина завелась с полуборота. Пока прогревался двигатель, доктор закрыл глаза. Почему-то вспомнил Ивана, укоряя себя, что не удосужился заехать к нему, поговорить о делах насущных.

Выруливая из больничных ворот, Алексей Максимович увидел знакомую долговязую фигуру друга: легок на помине. Рядом с ним стояла Татьяна Сергеевна в легком пальтишке. Иван, обняв ее плечи, укрывал от ветра. Она чем-то напоминала девочку-студентку, ожидающую своей участи перед экзаменом. Он же, большой и нескладный, походил на стену-крепость.

Алексей Максимович притормозил.

— Садитесь, подвезу, — он открыл дверку.

Иван, увидев друга, шагнул в сторону машины, увлекая Татьяну Сергеевну, но она остановилась.

— Привет, Леша! — крикнул он. — Пойдем, Танюша! — повернувшись к Татьяне Сергеевне, сказал: — Это же Алексей.

— Я вижу. Здравствуйте, Алексей Максимович! — она застыла в нерешительности.

— Садитесь же, здесь мне долго стоять нельзя — автобусная остановка, — решительно сказал Алексей Максимович, — быстрее.

— Мне, право, неудобно... — Она выглядывала из-за плеча Ивана.

По дороге Татьяна Ивановна, словно в свое оправдание, что-то сбивчиво рассказывала. Доктор смотрел то на нее, то на Ивана, и только обрывки фраз застревали острыми осколками: «ушла от Шипцова», «не знаю, что делать...». Иван успокаивал ее: «Все уже позади».

Алексей Максимович узнал много нового: Ивану грозили большие неприятности за срыв какой-то сделки — подпись под договором оказалась его, конечно же, с подачи Шипцова. С Таней знакомы еще со школы. Только из-за нее и пошел работать к Шипцову...

— Теперь уже не жалею, — Иван посмотрел на Татьяну. — Куда мы едем? — вдруг спросил он.

— А давайте ко мне! — решительно, голосом не допускающим возражений, выпалил Алексей Максимович.

— Ну, как, принимается предложение? — Иван повернулся всем корпусом к Татьяне.

— Принимается, — Татьяна смахнула непрошеную слезу.

Двухкомнатная квартира доктора встретила гостей холостяцким уютом, граничащим с аскетичностью: порядок на книжных полках, строго расставлена скромная мебель, дежурный букет из сухих колосьев разных злаков и полевых цветков и откормленный ленивый рыжий кот, скатившийся с любимого кресла. Кот потянулся и, важно вышагивая, подошел к Татьяне. Ткнулся в ногу сначала прохладным носом, потом, извернувшись, прижался ухом, погладил спину,

задев ее хвостом, и так же безмятежно и важно, переваливаясь с ноги на ногу, направился в кухню.

Иван по-хозяйски вместе с доктором уже что-то мудрили у кухонного стола.

— Татьяна Сергеевна, — Алексей посмотрел на нее, — я тебе... вам...

— Тебе, — мягко поправила его женщина.

— ...тебе должен что-то сказать, я так виноват перед тобой... — он опустил глаза.

— Не надо, я все знаю. Я случайно подслушала разговор Щипцова со своим приятелем. Тот лечился у другого доктора.

— Извини, я себя чувствую последним идиотом и мерзавцем...

— Не кори себя. Я ведь сама была заинтересована в обследовании. Я знала все с самого начала! И как он Ивана подставил, тоже мне известно... Спаситель... Сам подставил, сам и спасать бросился... Ты лучше прочитай вот это, — и она подала Алексею газету.

Из газеты на доктора смотрел его бывший пациент, уже депутат местной думы, одаривая всех елейно-приторной улыбкой. Глаза его смотрели прямо, не выражая ничего. Здесь же на всю полосу следовало его интервью под заголовком: «Выстраданная победа». «...Работа, работа, работа... С утра до ночи, и так каждый день... Организм начал давать сбой. Пришлось обращаться к врачам... Жена не выдержала, ушла... Но я не падаю духом и постараюсь оправдать доверие...»

Доктор еще долго смотрел на газету со следами высохших слез, затем вышел в комнату, подошел к телефону и включил автоответчик: «Привет Склиф-а-совский! Благодарю, что вернул здоровье: стране нужны здоровые депутаты. Ванек тебе тоже благодарен. Вытянул ты его из очень нехорошей

истории. Я знаю, что он неровно дышит в сторону Танюхи. Передай, пусть не берет в голову — я не в обиде...»

Алексей сделал шаг в сторону, чтоб видеть Татьяну из-за приоткрытой двери, и только убедившись, что она ничего не слышала, громко и весело спросил:

— Что пить будем, господа?

Поезд тянулся и скрипел, как худая телега. И только выходя из кривой на прямую, чуть поддавал, и скрип сменялся монотонным перестуком колес. На новой железнодорожной линии действует ограничение скорости. Алексей Морковин, мастер пути, злится на эти ограничения, установленные им самим же вместе с отделом временной эксплуатации дороги. На линии Сургут — Нижневартовск максимально разрешенная скорость семьдесят километров, но есть опасные участки, где она не превышает пятнадцати километров в час. В другое время ему бы наплевать. Сиди себе в приятной компании, пей пиво, закусывая вяленой рыбой. Но сейчас... Плотно стоящие темной стеною вековые кедры медленно тянулись назад, провожаемые долгим взглядом Морковина. Появлялись прорехи, обнажая бесконечные болота. С железнодорожного моста через Аган открывается пойма реки, зеркальной водной гладью до самого горизонта отражающая восходящее солнце широким ослепительно-ярким большаком. Время половодья, весна. Глаза невольно прищуриваются, Алексей отворачивается в темноту вагона.

— Вода нынче большая будет, — Саша Кушкин потирает ладони, улыбается. Он подкидывает карты, вертит головой, заглядывая то в одно окно, то в другое, но нить игры не теряет. Ребята заговорили о рыбалке.

— Леша, очнись! Козыри черви. Снова горбатого лепишь.

— Черви? Тогда мое, — Леша смотрит на разложенные веером карты невидящими глазами, собирает со стола подброшенные.

— Что с тобой? — спрашивает напарник Вовка Гусев. — По Зинке соскучился? Рано губу раскатал: еще добрых три часа пилить.

Лицо Алексея вспыхнуло румянцем, он почувствовал, как застучало в висках. Друзья переглянулись и не стали развивать тему. Все знали ревнивый характер своего друга. В бригаде, особенно женщины, любили пошутить и часто разыгрывали его, доводя до бешенства.

— Как ты Зинке разрешаешь обнимать Витьку Шпакова на сцене при всех? — хохоча, спрашивает Валя Борисова во время обеда.

— Не-е-е, за ней завклубом ухлястывает. Намедни как он смотрел на нее, чуть слюной не подавился, — подхватывает ее подруга Нинка.

— Да ты не переживай: он старый, ему много не надо — еще и тебе останется.

В такие минуты Алексей убегал, оставаясь без обеда, и курил сигарету за сигаретой, забившись подальше. Работая мастером, немало терпел он от своих подчиненных путейских рабочих, женщин бесцеремонных и острых на язык.

— Тебе с Афанасием нужно было ехать, — говорит Саша, — он уж, поди, давно дома пиво разливает.

— С ним главный инженер поехал, — Алексей скрипнул зубами. Он договорился с Афанасием, но в последний момент главный, будучи в подпитии, решил прервать командировку и вернуться в поселок при пиве.

— Он же шпалы должен отгрузить.

— Принял на грудь и по фигу ему шпалы, рельсы: пиво без него выпьют. Пропустит он такую оказию. Как же, держи карман шире, — зло забубнил Алексей.

Вовка открыл канистру и разлил по кружкам.

Второй год пиво варят в Сургуте, и весь Север развозит его машинами, поездами, вездеходами. Перестало на Севере пиво ходить в дефицитах. Бывало, по просьбе трудящихся посылали водовозку за ним в Сургут за сто пятьдесят верст, в основном для пенсионеров и тех, кто не в состоянии сам смотаться за тридевять земель. Афанасий на своем «зилке» чуть свет отправлялся в путь, чтобы после трудных часов борьбы за право заправиться, поздно ночью доставить стратегический груз. Разливали обычно тут же по приезду, как говорится, «не отходя от кассы». Любители пенного напитка разбирали его в припасенную посуду. Наступали пивные дни. Пиво в бидонах, банках расходилось по всему поселку. Его пробовали в мужском и женском общежитиях, на почте и даже в линейном отделе милиции и поликлинике. В конторе строительно-монтажного поезда тоже утоляли жажду прохладным пивком из холодильников. Некоторые бригады не выезжали на работу, что особо не тревожило начальство — потом отработают. Путевые рабочие после таких «вынужденных отгулов» работали с остервенением и особой прилежностью. Столярный цех и пилорама закрывались на профилактику. «Дни охраны труда» соблюдались неукоснительно. Северный поселок жил своей жизнью: работать так работать, а отдыхать — так с пивом.

— Афоня, там у меня с прошлого разу червонец должен остаться, — скрипит, бывало, баба Кудашиха.

— Шас, поглядим, — Афанасий достает из-под сиденья засаленную тетрадь, вычеркивает Кудашиху и производит полный расчет. Та, забывая про свой постоянно действующий радикулит, тащит двадцатилитровую канистру, почти не сгибаясь.

— Афоня, в долг дашь? До получки, — это дед Свирид.

— Шас, запишем.

Дед ставит под кран две трехлитровые банки, важно поглаживает окладистую, рыжую с проседью бороду, осматривает очередь. Его распирает гордость оттого, что, не спрашивая, дают в долг. Он еще работает сторожем в гараже и в состоянии рассчитаться.

— Ты, Афанасий, в две посуды не наливай: всем не хватит, — смеется здоровенный детина. Очередь оживает, каждому хочется поддеть старого. У всех посуда солидная: молочные фляги, канистры, а он — две банки.

— Одну старухе покажу, а другу — заначу, — смущаясь, отшучивается дед Свирид.

...Алексей Морковин вышел курить в тамбур и не стал продолжать игру. Ребята уже раскинули на троих. Вернувшись, залез на полку, растянулся как шпагат и закрыл глаза. Зинка снова заплясала, вертя бедрами, затянула казацкую песню. Вокруг стоят мужики и смотрят на ее ладное тело; стройные ноги, оголившиеся от кружения, быстро перебирают, выстукивая каблуками. Он открыл глаза, видение исчезло. Из груди вырвался громкий стон.

— Что, Леша, на животе больно лежать? Полка жесткая?

— На спину ляжет — штаны порвутся, — Вовка хлестко бросает карту.

На станцию поезд заходил шагом. Машинист вел короткий состав аккуратно, незаметно притормаживая. Алексей первым прыгнул на ходу и метровыми шагами быстро направился в сторону дома. Свернул на свою улицу. В одной руке он нес канистру с пивом, в другой — огурцы. В поселок пока огурцов не завозили, а в Сургуте своя теплица и продают на каждом углу. Зина заказывала. Первая окрошка с первыми огурцами имеет запах весны, вкус

приближающегося лета, и он уже предвкушал любимое кушанье.

В пять утра весь поселок спит, тем более в субботу. Ощущая разгоряченным лицом прохладу весеннего утра, Алексей ускорил шаг.

— Здравствуй, Леша! — услышал он скрипучий голос старой и вездесущей Кудашихи.

Наградил бог соседкой. Круглые сутки на крыльце, как курица на насесте. Местное средство массовой информации, можно сказать. Поезд она пропустить не могла: вдруг счастье улыбнется. И счастье ей улыбнулось в лице не улыбочивого Алексея Морковина с канистрой в руках. От неожиданности Алексей икнул и усталился на соседку. Как не заметил издавека? Обошел бы задами.

— Пиво ждешь, старая? — Морковин знал повадки своей соседки.

— Если нальешь, касатик, не откажусь, — старуха схватилась за поясницу, намекая на свой непроходящий радикулит.

Пока Алексей поднимался по ступенькам крыльца, старуха шустро повернулась на табуретке, достала из-за спины двухлитровую банку, звонко поставила перед канистрой. Пиво тягуче лилось в банку, пена полезла через верх. Кудашиха не отрывала глаз от золотистого ручейка, потом достала лежащую на подоконнике крышку, плотно закрыла и так же быстро убрала банку, словно от кого прятала. Посмотрела недобрыми глазами в лицо Алексею:

— Ты бы свою приструнил. В клубе до полночи пропадат. Вчерась Витька приходил. До-о-о-о-лго, однако, тама сидел. Баба-то у тебя вон кака боевуца — кровь с молоком. За такой глаз да глаз нужен. Не ровен час...

Последних слов Алексей уже не слышал. В голову шумно рванула кровь. Уши стали неслышащими, глаза невидящи-

ми. Он резко развернулся, опрокинув канистру с пивом. Кудашиха проворно поймала ее уже на ступеньках и ловко придала вертикальное положение.

Ураганом влетел Алексей на крыльцо, открыл своим ключом дверь, направился в кладовку. Не включая свет, в темноте нащупал одностволку, сдернул с полки патронташ, выбежал в просторный коридор. Из спальни вышла Зина в ночной рубашке. Золотистые пряди ее роскошных волос укрывали белые плечи.

— Леша, здравствуй, милый! — с хрипотцой в горле сказала женщина и убрала руками, как гребнем, упавшие на лицо непослушные волосы, подбила их, прихорашиваясь.

— Милый? Сегодня я у тебя милый, а вчера — Витька? — кричал Алексей, сдвигая ружье в сильных руках.

— Бог с тобой! Что ты несешь? Когда ты уже перестанешь слушать всякие сплетни? — Зина сразу догадалась, откуда новости. — Убью эту Кудашиху! Ненавижу!

— Это я тебя сейчас кончу! Хватит терпеть!

— Витька телевизор приходил ремонтировать. Дети дома были. Как ты мог подумать.

— Значит, если бы детей не было... — уже не мог остановиться Алексей, — дети, значит, тебе помешали! Все! Хватит! Сыт красавицей по горло!

Он грубо схватил жену за руку и поволок на улицу. Бегом сбежали с крыльца, обогнули школу и направились в тайгу, что начиналась сразу за школьным забором. Алексей шагал метровыми шагами, за ним семенила Зина босиком в ночной сорочке. Остановились на поляне. Морковин отскочил от своей жены, развернулся и наставил ружье. Зина с зареванными глазами смотрела на своего взбесившегося мужа, ее душил стыд, было горько и обидно. Сцены ревности в их семье были нередки, но сегодня.... Она его ждала, она видела его во сне...

— Стреляй, гад! Мне тоже все это осточертело! — она разорвала рубашку, выбросив одну ногу вперед.

Ее белые тугие груди разлетелись в разные стороны... Леша опешил. Его глаза только теперь обрели способность видеть. Рассудок вернулся к нему разразившейся молнией и громом звуков. Низко над лесом трубно загорланили лебеди. Ружье холодным металлом обожгло руки. Он смотрел на пару лебедей, низко протянувших над вершинами хмурых кедров, словно не понимая, как здесь очутился. Из глаз покатались крупные слезы. Зина тоже смотрела вслед улетающим птицам, вздрагивая всем телом, скрестив руки на груди.

Ее плечи укрыло что-то родное и нежное. К щеке прислонилось что-то приятное и влажное. Алексей обнял Зину, и щемящее тепло разлилось в его груди. Он почувствовал частое биение ее сердца. Лицо вдруг вспыхнуло от стыда.

— Прости меня, прости. Ты же знаешь, как я тебя люблю!

— Знаю. Я тебя тоже, дурачок ты мой...

Сладко-соленые губы, так знакомые Алексею, вызвали легкое головокружение. Ноги перестали слушаться. Он быстро снял куртку и постелил на мягкий мох. Зина послушно присела, запрокинув голову, сладостно потянулась и привлекла к себе своего любимого. Чистое весеннее небо было им покрывалом. Гуси-лебеди высоко в синеве тянули на север бесконечными ключами.

Середина октября уже отметилась ночными заморозками и первым снегом. Снег за день стоял почти полностью, но к ночи снова захрустело. Осенняя стынь лезла в палатку, просачиваясь сквозь потертый, выцветший до белизны брезент. Время потянулось медленно. Кажется бесконечной эта опостылевшая промозглая ночь. С наступлением темноты после сытного ужина уснули под легкое жужжание «буржуйки» и нежное тепло почти одновременно. Так же разом всех разбудил собачий холод. Кончилось тепло, кончился и сон. Посредине большой армейской палатки сиротливо стояла «буржуйка». Из крошечной тьмы таращились на светящуюся щель в неплотной дверке печки сонные опухшие глаза. Вот-вот разгорится, пыхнет теплом. Но время шло, а долгожданного тепла все не было. Глаза уже обвыклись. Печка с трубой, уходящей в потолок, черным силуэтом напоминала уродливого жирафа с короткими ножками. Небо квадратным синим куском вместе с огрызком луны, робко пробиваясь сквозь маленькое окошко, слабо разбавляло темень. На столе вырисовалась горка грязных алюминиевых тарелок и торчащих в разные стороны ложек. Впервые за два месяца стол после ужина остался неубранным, посуда невымытой. На нарах зашевелились. Никто не встал подбросить дрова.

Только один человек спал в эту ночь. Лежал он особнячком под стенкой, укрытый теплым полушубком. Его бархатистый негромкий храп своей основательностью раздражал соседей.

— А Дедун, смотри-ка, похрапывает. Вот человек! Ни голод его не берет, ни голод, ни утома.

— Закалка. Сталинская еще. Пять лет лагерей...

— Восемь. Говорят, восемь отбарабанил.

— А я слышал — одиннадцать.

Каждый имел свое суждение. Никто толком не знал, сколько и за что сидел Дедунский Матвей Федотович. Никогда сам Дедун, как прозвали его в бригаде, не распространялся о себе. Слава о нем впереди него пришла. Он еще не появился в строительно-монтажном поезде, а слух пошел, что едет к ним вальщик, равного которому на всем белом свете нет. О нем ходили легенды. Сорока на хвосте принесла, что в войну был награжден звездой Героя, и только это спасло от вышки; что до лагерей преподавал в университете, что Пушкина мог цитировать часами. И что звали снова в университет, но он отказался. «Я теперь лес валить умею лучше, чем преподавать», — сказал и уехал куда глаза глядят. И о странностях его много болтали: и что молчун, и что крут характером, и что чуть ли не в белой рубаше лес валит, и что бывший зэк Дедунский одинок, и что все стройки прошел, закален и холодом, и голодом. И главное чудачество: на дух не переносит анекдотов. Определили Матвея Федотовича бригадиром в бригаду, сколоченную из демобилизованных из армии комсомольских посланцев.

— Ты бы, Андрюха, пошевелил печку, — проскрипел дрожащий голос из угла.

— Что ее шевелить. Сейчас разгорится, вона шает, — Андрюха кивнул в сторону «буржуйки» и натянул легкое одеяло на голову. Сырая, не просушенная с вечера рубаша высохла на теле и забрала все тепло. Он уже не раз вспомнил совет бригадира. Ребра до боли сдавила судорога. Он сжался в комок. Показалось, что стало теплее, но через минуту его снова взбулындило трясучим ознобом.

— У-у-у-у! — задрожал Илья Шутов. — Что, дровишек подбросить некому? — он облокотился, посмотрел на «буржуйку». Свет, исходящий из ее нутра, успокоил его, и он повернулся на другой бок, втянул голову в плечи. — Когда она разгорится? Нет мочи ждать. Я уж думал, Дедун не растопил на ночь.

— Разве мог он заморозить свою любимую бригаду? Сейчас разгорится... — Витька Сомов потянулся, задрожав всем своим мускулистым телом. Он улегся так, чтобы видеть печку. Огонь внутри колыхнулся волной. — Андрюха, ты там ближе: подбрось пару полешек, — глухо и просяще проскрипел он.

— Погоди маленько, горит же. Шас потеплеет.

Так и не подошел никто к печке. Каждый пригрелся в своем лежище, боясь шевельнуться. Любое движение вызывало болезненное до ломоты подергивание мышц. Терпеливо ждали благодати от куска железа, стуча зубами.

В бригаде уже привыкли, что каждый вечер Дедун растопит «буржуйку», проследит, сушится ли одежда, поправит вешала — не случилось бы пожара. Если нужно, и ночью подежурит. Работал он наравне со всеми, несмотря на свой возраст. Ему недавно стукнуло шестьдесят. Успевал бригадир и дичи добыть, и рыбы поймать. Частенько то косач, то глухарь в котле варится.

— Ты бы, Федотыч, птичку какую добыл, а то третий день макароны по-флотски. Надоели.

— Кипяток приготовьте, картошки начистите, — как обрежет бригадир.

Возьмет свою одностволку и нырнет бесшумно в чашу. Через какое-то время несет уже пару косачей или глухаря. Никого с собой на охоту не брал. К одностволке никто никогда не притрагивался, хотя запрета не было. Просто знали: нельзя. Много чего у них делалось такого, чего не знали в

других бригадах. Дедун установил своеобразный сухой закон. Под самодельным столом в палатке стояла канистра спирта. По праздникам и в исключительных случаях, простуда, к примеру, бригадир наливал по полкружки. Праздники и исключительные случаи определял сам. Никто не знал, где он взял спирт и как протащил в вертолет. Сумки, рюкзаки на посадке шмонали, как говорится, по-черному. Не тронули только вещи Дедунского. Еще бы: сам начальник СМП¹ за руку здоровался и когда провожал, обнял старого вальщика: «Надеюсь на тебя, Матвей Федотович. К Ноябрьским встретитесь на Ватинском Егане с бригадой Дубенца. Он из Нижневартовского пойдет навстречу. Всем необходимым обеспечим». Обидно было слышать такие слова комсомольским посланцам, как будто один Матвей Федотович забрасывался десантом рубить просеку под будущую железную дорогу.

Еще завел порядок Дедун: ежевечерние ножные ванны в специально приготовленном пихтовом отваре. Эта лечебная, как считал бригадир, процедура была обязательной, хотя специального распоряжения не было. Просто после первого рабочего дня заварил Дедун душистую пихту, покряхтел от удовольствия, распаривая натруженные ноги, а закончив омовение, ошпарил оцинкованный тазик крутым кипятком и передал Андрею. За ужином налил всем спирту «за начало». Второго тоста не последовало. Так и повелось — один раз положено бригадирские полкружки.

— Одежду чтоб каждый день сушили; мыло хозяйственное, если что постирать, под нарами, — Матвей Федотович показал рукой. Вот, пожалуй, и все наставления.

Не любил он нравоучения читать. Делайте, мол, как я. Поначалу молодые комсомолыцы с удивлением и восторгом

¹ СМП — строительно-монтажный поезд.

смотрели, как управляется бригадир с любой работой. И не имеет значения, топор у него в руках или иголка для шитья, бензопила или поварешка. И когда в очередной раз разбивали палатку в новом месте (по мере того, как просека уходила на северо-восток), ребята легко управлялись сами. Не прошла наука даром. Матвей Федотович добывал в это время что-нибудь для праздничного ужина. А каждое новоселье — событие важное. Очередной трехкилометровый рубеж отмечался положенным бригадирским угощением.

За исправностью бензопил бригадир следил с особой тщательностью. Каждый вечер Дедун свою «Дружбу» и смажет, и подкрутит, и свечи просушит. Зачихает у кого бензопила, подойдет, разберет тут же на фуфайке прямо в лесу, устранит причину, снова соберет. На, работай. Все просто у него получается. Он и цепи приноворился точить в полевых условиях.

— Техника уход любит, — любил повторять бригадир.

А потом у всех в моду вошло по вечерам с техникой возиться. Потому и простоев нет. Ребята молодые, быстро схватывают, на лету ловят. Вот только с печкой да с посудой беда. Как взял эту заботу на себя с самого начала бригадир, так и тянет сам. После ужина посуду вымоет, печку растопит и ночью не раз встанет дров подбросить. Раньше тепло было, ночью вставать не нужно, а теперь... Устал от недосыпу. Сколько раз думал: «Не буду, сами пусть...» Но, однако ж свои, жалко: вон как умаются за день. Лечебные процедуры примут, одежду развешат вокруг печки и без задних ног валятся на нары. Тяжко им. Это ему не привыкать. Здесь-то курорт по сравнению с лагерями...

— Да растопит кто-нибудь печку?! — благим матом заорал Митька Хрустов.

— Сам и растопи! — Андрей, съжившись клубком, смотрел на пробивающийся свет из печной притворки. Обстановка накалялась.

— Что за диковина: печка уже не меньше часа горит, а тепла как не было, так и нет. — Шутов Илья накинул на плечи одеяло, спрыгнул на пол. Ноги сами нашли растоптанные, старые ботинки. Он заостеневшей рукой открыл дверцу. — Тут свечка горит, а мы тепла ждем! Ну, Дедун! — Илья непристойно выругался. В бригаде материться было не принято: Дедун не сквернословил. Все как по команде покосились на тепло укрытого бригадира. Тот шевельнулся.

— Так растопи, раз уже встал, — дрожащим голосом прохрипел Виктор.

— А что тут растапливать. Дрова заправлены, — он подвел колыхающийся огонек под сухую бересту. Потрескивая, огонь быстро набирал силу.

— Будем считать, что сегодня дежурит Илюша, завтра — я, и так по очереди, — Андрей сел и протянул руки к нагревающейся печке.

Кто не знает Пал Саныча? Нет такого человека на железнодорожных дачах. Если вы спросите, где дача Павла Александровича Коростылева, то никто вам не скажет. И вам не суждено будет найти его резной домик, сделанный своими руками, не увидеть вам его ухоженного садика. Потому, что все его знают как Пал Саныча. Обычно произносят одним словом Палсаныч. Фамилии его никто не помнит. Он уже давно на пенсии, но выглядит еще молодцевато. Седая, всегда аккуратно причесанная шевелюра — это, пожалуй, все, что выдает его возраст. Ходит он прямо бодрой энергичной походкой, и, увидев его со спины с покрытой головой, подумаешь, что шагает юноша: ни шаркающей походки, ни скованности в движениях не замечается. Напротив, случайно можно заметить, как он подбрасывает нож, подкручивая его, и ловит ловко за ручку после двух-трех вращений, или, чтобы поднять с земли какой-то предмет, он накатывает его одной ногой на носок другого ботинка и, ловко подбрасывая футбольным приемом, хватает рукой, залихватски протаскивая впереди себя. Его неугомонность и непоседливость не позволяют «завязаться жирку». Он сухощав, но не астеничен, пожалуй, у него крепкая фигура, но средний рост делает его скорее коренастым крепышом, чем могучим богатырем.

Пал Саныч по всему лету с женой Верой Ивановной на дачах обретаются. Городская жизнь им за зиму надоест, как горькая редька, и они, как только день на прибавку пойдет,

начинают собираться: то надо и это. Вера Ивановна семена перебирает по десять раз на дню, Пал Саныч по магазинам бегаёт, разные там удобрения выискивает, инструмент подкапливает, где дощечку-планочку подберёт: в хозяйстве все сгодится. Чтобы урожай хороший вырастить — покрутиться нужно.

И в это лето, как обычно, на даче Пал Саныча все растёт, цветёт, созревает. Малина вдоль забора в три ряда выстроилась, словно напоказ высыпала крупными ягодами. Клубника сочной зеленью укрыла пригорок за деревянным домиком. Цветник перед домом притягивает взгляд прохожего своей пестротой, ухоженностью. Ровными рядами грядки выстроились вдоль дорожки. Дача-то у Пал Саныча на углу в первом ряду от ручья, так что, почитай, никто мимо не пройдёт. Спускаясь к роднику, каждый остановится и полюбуется такой красотой.

— А что, Пал Саныч, дашь малины на рассаду? — спрашивает сосед, что через два дома вниз по улице. Он рад, что представилась возможность передохнуть и, поставив тяжёлые сумки, облокотился на забор.

— Отчего ж не дать. Приходи осенью, накопишь сколь тебе нужно, все равно прореживать буду: вона, как разрослась, в картошку лезет. Поезд, я гляжу, опоздал...

— Сегодня «окно» — шпалы меняют на тридцать четвертом километре, — сосед ещё работает на железной дороге и знает график путевых рабочих.

— Пора, пора менять. А то намерен ходил за грибами вдоль железки, так одно гнилье, а не шпалы. Так и до беды недалеко. В ранешние времена за такие дела... — Пал Саныч почесал затылок.

— Кабачки у тебя вон как разрослись. Какой сорт, если не секрет?

— Нету здесь никакого секрета — цукини. Но ты смотришь на грядку, а ничегошеньки не видишь: я нынче арбузы вырастил, — Пал Саныч хитро прищурился.

— Да что ты его слушаешь... — хотела встрять в разговор Вера Ивановна.

— Вера Ивановна меня все ругает, что ты, говорит, зря упираешься, — Пал Саныч повернулся к жене и стал подмигивать, затараторил, не давая ей возможности испортить дело, — а мне вот интересно стало. Посадил два семечка, потом рассадой на грядку. День и ночь не отхожу. Ночью накрываю, на день открываю, на ночь закрываю, на день открываю...

Вера Ивановна махнула рукой, что-то проворчала и направилась в домик.

Сосед только теперь заметил на гряде рядом с продолговатым кабачком полосатый арбуз. Он блестящим своим округлым боком выглядывал из густой тени больших резных листьев еще не созревших патиссонов, соседствовавших с кабачками. Пал Саныч с удовольствием наблюдал, как часто захлопал глазами сосед, как вытянулась его физиономия. Совершенно растерявшаяся жена соседа Анна Даниловна, стоявшая пока незаметно за спиной мужа, не выдержала:

— У людей-то все растет, а у тебя и морковки нынче не будет, — пробудилась она после потрясения.

Пал Саныч уже пожалел, что показал им арбуз: он не любил, когда соседки ставили его в пример своим мужьям, но с другой стороны, если Анна Даниловна знает про арбуз, то можно быть спокойным, что затея его удалась.

— Я сегодня прорывать буду морковку, так что, Роман, подходи. У меня тоже в прошлом году плохо морковка взошла, так я рассадой сажал. У Володи брал. Только в воде держать нужно морковку до посадки, — Пал Саныч уже не знал, как загладить свою вину перед Романом.

— Е кэ-лэ-мэ-не, ни разу не видел, чтобы на Севере арбузы выращивали, — не обращая внимания на слова жены и Пал Саныча, выдавил из себя Роман. Он неотрывно смотрел на полосатую округлость в густой зелени.

— Состарился, а ума у тебя так и не прибавилось, — ворчит за чаем на своего мужа Вера Ивановна, — пошто людям голову морочишь? Анна сейчас в усмерть запилит своего.

— Так ведь завтра утром дочь да внучка наша Олечка придет, я им сюрприз приготовил, да и так пошутить хотел...

— Пошутить... Сейчас по всему поселку слава пойдет.

— Ну и ладно, ну и хорошо. — Пал Саныч улыбнулся и потер ладони. — А вон уже и первые посетители, — он, хихикнув, показал пальцем в окно. Там у забора стояли две женщины и, энергично жестикулируя и покачивая от удивления головами, о чем-то разговаривали. Вера Ивановна, увидев их в окно, прижалась к стене, боясь, что соседки ее заметят.

— Что, схлопотал, старый пень? — уже не на шутку разошлась Вера Ивановна. — Теперь на улицу не покажешься. От стыда можно провалиться. Шутник. Когда ты уже ума наберешься? — она вдруг оттолкнулась от стены и, немного поколебавшись, вышла на крыльцо.

— Здравствуй, Вера! А мы тут с Петровной мимо шли, случайно увидели арбуз на гряде. Ей-Богу, впервой вижу в наших краях, чтобы арбузы выращивали. Если бы кто рассказал — не поверила бы. А вот же, — и она показала на арбуз. Она тараторила с такой быстротой, что Вера Ивановна не имела никакой возможности вставить хоть слово.

— Прямо смотрю и думаю: вот мужик тебе попал, дай ему Бог здоровья.

— Все-то у него ладится. За что не возьмется, все ладом получается. Не то что наши оболтусы... Золотые руки у твоего...

— Пообрывать бы ему эти руки... — Вера Ивановна не успела закончить начатую фразу, как Пал Саныч вышел вперед, заслонив жену.

— Вере не нравится, что я с этими арбузами вожусь день и ночь. Другие дела все запустил, — нарочно громко и быстро заговорил Пал Саныч, — вот и ругает меня по-всякому. А с ними столько возни: днем открой, на ночь закрой. Днем открой, на ночь закрой. Теплолюбивые шибко... — начал он уже знакомую песню, оттесняя жену.

Вера Ивановна от злости стукнула своими женскими кулачками мужа по спине и заскочила в домик. Он даже не почувствовал удара.

Потом потянулись за водой к роднику дачники из верхних дач и почему-то непременно мимо Пал Саныча и непременно отдыхать останавливаются на углу у навозной гряды, где сквозь листья патиссонов выглядывает чудо-арбуз.

— Такое впечатление, будто у всех враз вода кончилась или жажда их замучила, — стал уже раздражаться и Пал Саныч.

Ему тоже не хотелось выходить на улицу и каждому зеваке врать одно и то же. Врать он не любил. Пошутить — дело другое. Бывало, страдал он от своих проделок, а иногда его находчивость и на пользу приходилась. Как-то нужно было собрать дачников на собрание, чтобы договориться о ремонте линии электропередачи. Электрики составили грозное предписание с требованием поставить к столбам «пасынки»: линия-то старая — вот-вот столбы попадают. Отключить электроэнергию — дело нехитрое, попробуй потом включить. Сколько бумаги измарать нужно и времени извести. Несколько раз пытались собраться народом — и никак. А Пал Саныч смог собрать. Он на здании вокзала повесил объявление, что приезжает начальник отделения дороги и будет решаться вопрос остановки поездов в дачном поселке. И приписал, что

если не будет «кворума», то встреча не состоится и остановку отменяют. Пришли все.

— Сиди теперь в избе, пенек старый. Дошутился, — успокоившись, ворчит Вера Ивановна. Она достала вязанье и, ловко вертя спицами, время от времени поглядывает в окно.

— Полюбуйся, уже смеркается, а там снова кто-то стоит, — уже улыбаясь, говорит Вера Ивановна, и ее руки автоматически скидывают, набрасывают петли, подтягивают нитку из клубка.

Пал Саныч наточил все ножи, навел порядок в кладовке. Разложил инструменты по местам. Раньше времени на такую работу не хватало, а тут его «случайное» затворничество на целый день заставило заняться этой нудной работой. Выходить на улицу ему не хотелось.

— Паша, занеси арбуз домой от греха подальше. Вся деревня знает. Неровен час, унесет кто-нибудь... Пошутит, — добавила Вера Ивановна, хмыкнув, — и внучке не достанется.

— Поезд прибывает в пять утра. Просплю — и не успею положить его на грядку, а хочется сюрприз Оленьке... Представляешь лицо Наташки, зятя? Да они опупеют все.

— Когда у тебя уже ума прибавится? Седой, а все приколы ему... — Вера Ивановна пошла спать.

Еще долго возился Пал Саныч с инструментами, починил часы, подшил валенки, переделал много еще всякой мелкой работы. Он несколько раз в темноте выходил на улицу, бродил вокруг домика, потом прошелся вниз по улице до самого ручья, вернулся, присел на крыльцо. И только когда ночной холод выбил первую дрожь в теле и гусиная кожа неприятной волной пробежала по озябшему телу, Пал Саныч, съевшись, зашел в избу. Сел у окна и долго всматривался в темноту. В начале августа ночи прибавляли в свою копилку

по кусочку темноты и прохлады. Пал Саныч замечал, что зелень окружающего леса потускнела, вода в реке упала, обнажив болотистые берега, пески на поворотах. По утрам густой туман укрывал реку и всю пойму мягким и нежным покрывалом. Все напоминало о приближающейся осени.

Туман упадет на землю — будет ведро, а если поднимется вверх — к дождю. Так когда-то говаривали старые люди. Но сколько ни пытался проследить, никак не удавалось Пал Санычу заметить, куда девается туман. Когда идет дождь, он вытягивает трубочкой губы, делает загадочно-умное лицо и говорит: «Туман утром кверху поднялся, вот и дождиком нас порадовал — поливать не нужно грядки». В жаркий день он, раскручивая шланги для полива, ворчит: «С утра туман книзу пал — ведро будет».

Он еще раз посмотрел в окно. Густая темень не просматривалась. Выходить на улицу не хотелось. «Может, занести арбуз домой?» — подбиралась предательская мысль. Но как же сюрприз? Пал Саныч прилег на край кровати и тут же крепко уснул.

Сквозь пробуждающееся сознание прорываются непривычные звуки, громкий смех, топот детских ног, хлопанье дверей. Надоедливая муха ползает по щеке. Пал Саныч смахивает ее, но она снова садится, теперь на лоб.

— Деда, вставай! Я уже устала тебя ждать, — Оленька громко смеется.

Семилетняя девочка в легком платьице шекочет его гусиным пером.

— Ах ты, проказница, — Пал Саныч обнимает внуку. Та вырывается и стаскивает деда с кровати, не выпуская его шершавую руку.

Солнце уже высоко. В небе ни тучки. Начинается теплый летний день. Дачники уже давно начали свой обычный

выходной, ползая на четвереньках в своих огородах. Отдыхают.

— Туман на землю пал — ведро будет, — по привычке сказал Пал Саныч, выйдя на улицу. Он прошелся по тропинке вдоль грядки и, стараясь не поворачивать головы, скосил до боли глаза на грядку. Арбуза не было! Он развернулся на месте, еще раз взглянув на прорежу, образованную им же вчера промеж широкой листвы.

— Откуда ты знаешь, куда туман девался? Проспал все, — заворчала Вера Ивановна, — шутник, — добавила она и хмыкнула. Пал Саныча взяла тревога. Дочь с зятем собирали малину, повесив берестяные кузовки на шею и о чем-то весело разговаривали, похохатывая. Жена чистила свежую картошку, морковку, напевая свою любимую песенку. На металлической «буржуйке», что притулилась между смородиновыми кустами, кипел суп. Внучка легко слетела с крыльца, остановилась у скамейки, там у нее по-магазинному стояли разные игрушки.

«Что за оказия, будь она не ладна? Где ж арбуз?» Ситуация интересная получалась: спросить он не решался, надеясь, что все само собой разрешится.

— Привет, ребята! — крикнул он, стараясь казаться равнодушным ко всему происходящему.

— Привет, пап, — как бы между прочим крикнула Наташа.

— Привет, Пал Саныч, — весело поздоровался Михаил.

Каждый занимался своим делом. Пал Саныч взял тяпку и начал высекать поросшую вдоль дорожки траву. Более бесполезной работы и придумать нельзя.

— Ты бы грядками занялся, морковку прорвал бы. Травой занялся. Делать, что ли, нечего? — заворчала Вера Ивановна, видя, что муж ее вроде как сам не свой. Ей так и хотелось сегодня выместить все наболевшее за вчерашний день. Не так часто можно было видеть растерянность Пал Саныча.

— Вечером прорву. Сосед хотел морковку посадить. Пусть жара спадет, а то не примется, — Пал Саныч отвечал вяло. Нет звонкости и уверенности в голосе. Глаза в сотый раз выхватывают пустоту на гряде в тени густой листвы кабачков и патиссонов.

Пал Саныч подождал, когда все семейство скрылось в домике, призванное Верой Ивановной на ужин. Оставшись один на улице, он быстро подошел к гряде, раздвинул широкие, с мелкими колочками листья и внимательно осмотрел пустующее место. Ему целый день не давала покоя мысль, что арбуз закатился в тень и его просто не видно. Арбуза не было.

— Кто же меня за нос водит? Соседи — в отместку за розыгрыш, или Вера Ивановна? — он иногда называл жену, бывшую учительницу, по имени-отчеству.

Медленно поднявшись на крыльцо по крутым ступеням, он еще раз бросил взгляд на гряде.

Запах свеженарезанного арбуза ударил в нос резко и отрезвляюще. Пал Саныч даже замер в открытой двери. Затем с победоносной улыбкой вошел в большую комнату, где был накрыт стол для всего семейства. На тумбочке, в стороне от стола с тарелками парящего супа, в большом блюде лежал нарезанный спелый арбуз. Своим алым нутром он привлекал взгляд хозяина. За ужином много болтали, смеялись, внучка громко хохотала. Настроение у Пал Саныча тоже было приподнятым, и, когда пришла пора десерта, он взял огромное блюдо с разрезанным арбузом и поставил на освободившееся место посередине стола. И тут он понял, что это не его арбуз. Тот был значительно меньше.

— Ешь, деда, мы с папой вместе выбирали. Папа вот так сжал и сказал, что арбуз спелый. Когда арбуз спелый, он трещит. А можно еще постучать. Если громко звенит, значит, он



внутри красный и сладкий, — Оленька громко тараторила и смотрела на деда, улыбаясь своей очаровательной улыбкой, и даже шербинка от выпавшего зуба не портила ее.

— Вкусно, молодцы, умеете выбирать, — Пал Саныч тоже улыбнулся и подумал: «Хорошо, что они догадались взять арбуз». Про свой он решил молчать. Посмотрел на Веру Ива-

новну, но жена в это время выковыривала семечки ножом и не заметила намекающего взгляда.

— Оля у вас останется на неделю, — сказала Наташа.

— Деда, ты рад?

— Конечно, еще как! Мы с тобой за грибами ходить будем.

— И на рыбалку. Я шук хочу ловить. Помнишь, как мы в прошлом году во-о-от такую поймали? — и она раскинула руки, как делал обычно дед, хвастаясь своими уловами.

— Помню. И еще поймает.

— Чисто дед, так же хвастает, — не замедлила отреагировать на внучкин жест Вера Ивановна, — щучка там была чуть больше вот этого ножа.

— Что ты понимаешь, бабушка? — Оленька укоризненно посмотрела на Веру Ивановну.

Пока Пал Саныч с Верой Ивановной убрали со стола, Оля вслед за своими родителями выбежала на улицу.

— Деда, выходи, — кричала она в окно, — у меня для тебя сюрприз!

Пал Саныч долго не мог найти внучку. И только когда Оленька не выдержала и хихикнула, он увидел шевелящиеся кусты малины.

— Вот ты где, проказница? — он поднял ее над кустами.

— Пусти, я тебе что-то покажу. — Посмотри под этот кустик, — и Оля отклонила в сторону крупные листья клубники.

Полосатой боочиной блеснул знакомый арбуз.

— Ну, что, деда, один-ноль? — и Оленька громко захохотала.

Незаметно подошла Вера Ивановна.

— Яблочко от яблоньки недалеко падает, — сказала она мягко и улыбнулась: — Давайте сюда свой сюрприз. Шутники.

СПЛОШНАЯ НЕВЕЗУЖА

Верхняя полка общего вагона, жесткая, как булыжная мостовая, располагала к раздумьям и никак не способствовала сну. Дмитрию Ивановичу повезло: ему, как ветерану, так сказать, представителю старшего поколения, уступили это козырное место в переполненном вагоне. Он ворочался, пытаясь уложить свое тощее тело в такое положение, когда достигается гармония между жесткой подстилкой и мешком костей. Не раз он уже недобрым словом вспомнил свою хужбу. Он всегда завидовал полным людям, а сейчас и подавно. Молодежь, плотным кольцом облепившая расшатанный столик, праздновала День Великой Октябрьской Социалистической революции. Никто не помнил годовщину праздника, но наливали крупными торопливыми буями в эмалированную кружку и пускали ее по часовой стрелке. Регулярно очередь доходила и до ветерана. Дмитрий Иванович в складчину не участвовал, и первая далась ему с некоторыми угрызениями совести. Каждый тост адресовался ему, как будто он своими руками делал революцию.

— Ну, за тебя, дед. Молодцы вы, почудили здорово в семнадцатом. До сих пор празднует народ. Будь здоров.

— Я не брал Зимний и Ленина не видел, просто еще не родился... — хотел отшутиться Дмитрий Иванович.

— Все вы, старики, скромничаете, — перебил его рыжий, щекастый парень.

Вторую Дмитрий Иванович принял как само собой разумеющееся, сам протянул вниз руку и обменял пустую кружку на кусок бесцветной докторской колбасы и краюху хлеба. Колбаса оказалась и без запаха, и без вкуса.

— Какая это падла отправила тебя в праздник, да еще в общем вагоне? — продолжал шекастый.

— Я сам взял билет. На плацкарту денег не хватило. Я, можно сказать, в бегах. Нет, не подумайте, зять у меня хороший, но вышел небольшой конфуз...

И Дмитрий Иванович поведал своим новым знакомым, как ему показалось, очень милым ребятам, свою историю. После третьей память прояснилась и два последних месяца вспомнились Дмитрию Ивановичу до мельчайших подробностей.

В сентябре, по приглашению своей дочери и зятя Виктора Васильевича, Дмитрий Иванович приехал «на Север» — клюквы пособирать, орехами запастись, порыбачить. Звали его каждый год, но ему то не хватало решимости, то здоровьишко подводило. Страницу атласа СССР, где размещалось огромное зеленое пятно прямо посередине огромной его страны, затер старый потенциальный путешественник до дыр. Руслу Оби в среднем течении на этой странице не существовало, как не существовало там болот и грив, мелких рек и речушек. На месте их было белое, вернее, серое пятно, вышарканное пальцами. Хотя мысленно Дмитрий Иванович излазил здесь каждый сантиметр, тем не менее это серое пятно казалось для него белее белого.

— Зять у меня хороший, но шибко строгий. Томка, дочь моя, на что боевуша, а тут: «Витенька, что тебе на ужин приготовить? Витенька, а тебе доктор звонил... Витенька, Витенька...» Прямо смотрю и любуюсь, в добрые руки попала, — вел рассказ дальше Дмитрий Иванович. И сына, внука мое-

го, в руках держит. Тому уж двенадцатый годок пошел, за ним глаз да глаз нужен. Хороший зять, ничего сказать плохого не могу об ем... Комнату мне отдельную выделил, — Дмитрий Иванович задумался.

— То-то сбежал от него. Хороший... От хороших не бегают.

— Так в том и моя вина есть. Друг у меня там объявился. Сосед ивошный — Павел Иванович. Мы с ним и по клюкву, и за орехом... Он-то все места знает.

Начали мы с ним помаленьку... того... да и как без этого. Он бражку ставил тайно от жены. Но мы все и по хозяйству успевали... У него инструменту разного полно. Учителем труда раньше работал.

У него забор повалится, — я ему помогаю, у нас сарайку перекрыть нужно — он тут как тут со своим инструментом. Золотые руки у человека, можно сказать.

— Ну, потом, опосля работы, как положено... — долговязый парень громко шелкнул себя по кадыку.

— Ну, как положено... — ветеран опустил голову.

— Ты, дед, не скромничай, после работы не грех.

— Да я ничего, только с этого все и началось. Я все сделать хочу, чтобы путем было, а выходит каждый раз не так, все не так, — он безнадежно махнул рукой. — Как-то наточил нож его охотничий. Он мне сам похвастался: смотри, говорит, какой нож по заказу мне сделали — хантыйский. А я взял его, попробовал лезвие пальцем: наточить, думаю, нужно. Приятное сделать Виктору Васильевичу, значит, захотелось. Он с обеда на работу, а я за нож и к Пал Иванычу. Тот посмотрел, повертел: неправильно, говорит, заточен нож, и наточил, как надо. Ну, ясное дело, без ста граммов не обошлось. Вечером, само собой, хвастаюсь зятю работой, а он как вызверится: «Что вы наделали, старые, по пьяни? Он же заточен был спе-

циально на одну сторону под левую руку». Он левша у нас. Левши все горячие. Неловко стал я себя чувствовать опосля такой промашки и задумал загладить вину. У них крыльцо деревянное, резное такое, красивое. Дерево уже цвет стало терять, темнеть начало. Тут и Виктор Васильевич пожаловался, что некогда покрасить. Я снова к Пал Иванычу: так, мол, и так. А он: «У меня и краска есть зеленая. Я у рабочих на брагу сменял. Три литра браги на флягу краски. В хозяйственном магазине возьмем чек, отчитаемся, еще на литрушку выгорит». Бес меня попутал.... Покрасили. Цвет как у поношенной шинели. Цвет-то — ладно, но она еще и не высыхает. Видимо, соляркой развели паразиты-рабочие. Снова мне начет, в пассив, так сказать. Хорошо, что я еще чек не выложил. Я его потом сжег, боялся: раскусит Виктор Васильевич наш коварный план, если случайно попадет на глаза. Ох уж и умный он, не приведи господи, провидец, можно сказать. Бывало, я только подумаю, а Виктор Васильевич уже: «Смотри сегодня, Дмитрий Иванович, чтобы без фокусов».

— А что ты, дед, все Виктор Васильевич да Виктор Васильевич.

— Я завсегда его по отчеству, завсегда-а-а, — протянул важно «ветеран революции».

— И на «вы», что ли?

— Нет, на «ты», но по отчеству всегда, с первого дня. Сила в ем какая то есть. Сам росточку маленького, только с животиком, и борода седая, лысина. Начальником работает... строительства. Нрав шибко крутой. С работягами-вахтовиками как иначе — на голову сядут. Так вот, ребята, дальше — шире. Как-то перестелили мы с Пал Иванычем линолеум на кухне. Хорошо получилось этот раз, самому понравилось. Сели мы, значит, закусить. Томка на работе. Сообразил я тут салатик. Нашел огурчики в холодильнике, а помидоры, две штуки

(крупные такие), на подоконнике лежали. Закусили чин чинарем, а тут и Виктор Васильевич с работы. Я же говорю: провидец. Ему тоже работа наша понравилась. Да и как не понравится — ни морщинки. Ровненько лежит, как паркет настоящий. Потом смотрю, он белеть начал, борода затряслась. Первый признак, что нервничает. В подоконник уставился, потом в тарелку с остатками салата. Ничего не сказал, только скрипнул зубами. Он хоть человек крутой, но деликатный: при Пал Иваныче не стал бучу поднимать. Мне потом Тамара рассказала, что мы семенные помидоры съели, будь они не ладны. Ему из Нижневартовска привезли, сорт какой-то шибко урожайный. Знать бы....

И так все: что бы я ни сделал — все не так. И главное, пытаюсь как лучше... туды твою качель... — с линолеумом хорошо, так с помидорами конфуз.

Хмель и твердая «постель» вытряхнули последние силы из Дмитрия Ивановича. Речь его замедлилась, он стал запинаться, повторять уже сказанное, пару раз срывался на мат. Из соседнего купе выражали уже недовольство поздними громкими беседами. Уставший старик замолчал, повернулся набок к стенке лицом и захрапел, чтобы завтра досказать прерванный придиричливой пышногрудой дамой рассказ.

Исчезновение тестя можно было объяснить, но где он прячется, Виктор Васильевич вычислить не мог. Павел Иванович молчал, как рыба об лед, а завидя Виктора Васильевича, старался скрыться. Виктор Васильевич каждый день приходил на пепелище сгоревшей новой бани.

Баню из бруса поставили быстро. Строительный материал был хорошего качества, а главное, всего было достаточно. Внутри обшили вагонкой. Большой и просторный предбанник, отдельная помывочная делали ее примечательной. Баня

получилась на славу — лучшая в поселке. Все друзья перебивали на новостройке, удивляясь удачной планировке, богатой отделке. Оставался последний штрих — сделать расшивку вокруг дымохода, аккуратно заизолировать асбестовой лентой, как говорится, с целью противопожарной безопасности.

— Вы, Виктор Васильевич, будьте покойны: сделаем с Пал Иванычем как надо. Я уже не одну баню построил, знаю, что к чему, да и сосед тоже поможет, — в отдельные ответственные моменты тесть называл зятя на «вы».

— Так что, вечером пускаем дым? — Виктор Васильевич потер ладони.

— Еще как пускаем. В торжественной обстановке. Как обещали — успели к празднику.

Уже поздно вечером затопили баню. Пар хороший, дерево отдает лесными ароматами, смешиваясь с березовым духом распаренных веников.

— Ну, Иванычи, принимайте по рюмке, — «Иванычи» уже хорошо принявшие в процессе работы, с радостью не отказались. Потом повторили, и не однажды.

— Вам не кажется, что деревом паленым пахнет, — Виктор Васильевич посмотрел на Павла Ивановича, потом на тестя.

— Если кажется — креститься нужно. Дерево свежее, высыхает, вот и пахнет, — уже запинаясь, сказал весело Дмитрий Иванович. У него было приподнятое настроение. Он впервые, может быть, за два месяца честно и смело смотрел в глаза своему зятю. Он даже отважился похлопать его по плечу. — Не ссы, Витя, сто раз меня помянешь. Банька что надо получилась. Мойся и радуйся. Тамарке спинку тереть будешь, опять вспомнишь, — глуповато хихикнул он.

— Не то что вспоминать, я всем буду с гордостью рассказывать, какой у меня тесть — орел! — и зять посмотрел на

своего тестя. Тот, поджарый, высокий, с черной, почти нетронутой сединой шевелюрой, весело балагурил, отпуская плоские шутки на грани пошлости и хамства.

«Как лавровый лист, — подумал зять, — старый и сухой, а цвет и запах сохранился. Салдофоном был, салдофоном и остался. Отчего ему было поседеть: всю жизнь просидел в прапорщиках заведующим неприкосновенных запасов продовольствия какой-то военной части, потом вахтером в общежитии. Одна забота в жизни: все сделать для того, чтобы ничего не делать», — Виктор Васильевич уставился в оконце. Он уважал своего тестя, но, как человек, прошедший школу армии, не мог не замечать незримых погонцов прапорщика на его плечах.

Со стороны Павлу Ивановичу родственники казались ровесниками: седина и лысина младшего на пятнадцать лет зятя уравнивала его с тестем. Павел Иванович большей частью молчал, часто подходил к печке, принимался, потом садился, молча опрокидывал рюмку, громко хрустел огурцом.

Дмитрий Иванович не ошибся, что Виктор Васильевич будет его вспоминать, но чтобы так часто... ему и не снилось. Банька сгорела. Два раза протопили баню, а помыться и попариться счастливое семейство успело только один раз. Не довелось собрать друзей на Седьмое ноября. Праздник был омрачен. После «разбора полетов» специалисты-пожарники заключили: неправильно сделана изоляция дымохода.

Исчезновение тестя в конце концов вытеснило пожар на второе место. Все занимались его поиском. Подключился двенадцатилетний внук, соседи, друзья. Только Павел Иванович вел себя странно, — на вопросы Тамары отвечал односложно, потупив взор:

— Не знаю, где он. Вам виднее: он ваш родственник. Я ему кто? Отчего это я должен знать?

С Виктором Васильевичем он встречаться отказывался и всячески старался не попадаться ему на глаза. Разведка донесла, что в доме соседа он не скрывается. Домашний телефон в свердловской квартире тестя не отвечал. Его соседи по подъезду тоже не видели Дмитрия Ивановича.

— Это он тебя испугался, он мог руки на себя наложить, — корила Тамара мужа.

— Что ж, я его убил бы, что ли? Что ж, я изверг какой? — в сердцах ронял Виктор Васильевич. — Да бог с ней с баней. Еще построим. Может, в милицию заявить?

— Не хватало еще, чтобы по всему поселку и Свердловску слава пошла, что дочь отца извела. Что будет, то и будет. Если жив — объявится, если нет — уже ничем не поможет.

Слова жены больно ранили сердце Виктора Васильевича. Он стал плохо спать и уже жалел, что затеял то злополучное строительство, что заставлял работать тестя. Теперь он себе казался эксплуататором и угнетателем, ему снились кошмары. В каждом сне тесть просил у него прощения и каждый раз по-разному: то ползая на коленях, то бегая за ним по пятам, а он убегал от тестя, не желая разговаривать, что доводило Дмитрия Ивановича до слез. То он видел тестя с пистолетом у виска и просыпался в поту. После таких снов Виктор Васильевич ходил в поликлинику тайно от Томи.

И вот когда надежды на благополучную развязку почти не осталось и Виктор Васильевич давно простил ему роковой брак в работе, пришло письмо от Дмитрия Ивановича, в котором он обстоятельно и подробно изложил свою точку зрения на все происшедшие за два месяца события. В послании он корил себя за помидоры, за охотничий нож, за перила, выкрашенные краской, разведенной соляркой «несознательными рабочими», называя все «сплошной невезухой». Он

упоминал и другие свои прегрешения, неизвестные Виктору Васильевичу, и каялся во всем, просил прощения.

Но заканчивалось письмо неожиданно:

«...И наконец, уважаемый Виктор Васильевич, коснусь вопроса о бане. Я долго размышлял и думал, почему сгорела баня, я даже прочитал специальную литературу, разговаривал с опытными людьми и пришел к выводу: баня сгорела потому, что вы топили березовыми дровами, а березовые дрова, как известно, дают большую температуру при сгорании.

С уважением к Вам

Поляков Дмитрий Иванович».

ОДНА БЕДА НЕ ХОДИТ

I

Борис Степанович сидел в ночной электричке и смотрел в темное окно. В окне отражалась его небритая физиономия. Густая щетина, окружавшая плотно сжатые губы, в нечетком изображении дрожащего немытого стекла напоминала мыльную пену. Он невольно протянул ладонью по лицу. Вчера перед работой побриться не успел. Седые волосы, выбиваясь с боков из под фирменной фуражки и кудрявясь, пытались забраться наверх, придавая отражению неряшливость. Он снял фуражку и пригладил непокорные волны. В вагоне ехало еще несколько пассажиров. Все дремали, склонив низко головы. Борис Степанович боялся уснуть. Его станция была предпоследней, и электричка там задерживалась только на одну минуту. То и дело он резко подкидывал сонную голову и снова всматривался в темноту. Нужно было чем-то занять мысли. Странная смена выдалась. Надо же так обмисуриться. Кому расскажешь — не поверят. Он улыбнулся, всматриваясь в окно. Там из мрака ночи на него оскалился незнакомый беззубый дед.

Все сосед... «Коровку» доить буду, заходи... отведаем первачку. Жена в день». Провокатор... Отведали... Сосед хороший, вместе в школу ходили, вместе на железке работали. Только Толян, как звал соседа Борис Степанович, уже второй год на пенсии. Оно-то и самому можно бы на пенсию —

возраст вышел, да страшновато — совсем один... А тут и помощников машинистов не хватает. Разрешили подработать. Вот и приходится ездить на работу за тридевять земель. А что делать? Дети выросли, уехали в город. Жена уж двенадцать лет как померла. Из хозяйства кот да собака.

С «коровки»-то все и началось... Анатолий Евсеевич и до указа бражку ставил, а теперь — сам бог велел. В поселке спиртное не продают. В городе, говорят, только с двух, а очереди... Людей давят из-за нее окаянной. Недавно соседка рассказывала: двоих женщин затоптали. А как без нее — валюта. Хоть какая работа делается, а расчет один. Да и самому такой товар не лишний в хозяйстве: где после баньки, где с устатку. А праздники? Поминки, не приведи господи.

Смастерил Анатолий Евсеевич самогонный аппарат — «коровку». А что его мастерить: бидон из-под молока, змеевик медный, бак для охлаждения — просто! Теперь все удивляется, что раньше брагой пили. А тут прямо спирт получается. Указ помог. Нет худа без добра. Зверобойчиком да душицей заправит — коньяк! Верка лекарства настаивает. Пусть лечится, не жалко.

— Зайди, — говорит, — «коровку» доить буду...

Борис Степанович спустился в подпол, взял соленых груздей — уже высолились. Из холодильника достал половину вареной курицы, квас в двухлитровой банке, сложил все в полиэтиленовый пакет. Сосед к его приходу наварил картошки — крупная, рассыпчатая. «Коровка» парила во дворе. Для нее Анатолий Евсеевич приспособил «буржуйку». Теплый осенний день доносил последние запахи осени. Солнце в затишке пригревало, черная земля убранного огорода вбирала последнее тепло. Бархатистый зеленый островок моркови и буровато-фиолетовая грядка свеклы — вот и все, что осталось неубранным.

— Садись, сосед, первачок быстро бежит.

В трехлитровой банке уже появились первые теплые капли, они матовым паром обдали холодное стекло, вскоре по стенкам заструились ручейки, направляясь в прозрачное озерко на дне. Друзья-соседи устроились под навесом: там и столик на этот случай. На столе уже порезаны вдоль на две части соленые огурцы, парит картошка.

— Я ненадолго, — усаживаясь, забасил Борис Степанович, — мне на смену. Снова в Свердловск. То здесь в смену поставят, то в Сортировке: все на подхвате. И не рыпнешься — пенсионер. Быстро под зад дадут, и гуляй Вася, а еще поработать хочется.

— А я вот никуда не спешу — я теперь птица вольная, хочу — бражку ставлю, хочу — лежу до обеда, хочу... — Анатолий Евсеевич что-то еще хотел сказать, но вдруг запнулся.

— Что ж ты мне каждый день спать не даешь? Еще до рассвета своими ведрами гремишь? Скотины полон двор: он до обеда спит, — передразнил друга Борис Степанович. — Кому другому расскажи. Ты вот сколь раз нынче на рыбалку ходил?

— Да пару раз выбирался.

— То-то, выбирался. А ране-то, помнишь? Как выходные совпадут, мы с тобой на Журавлиху. Лещей-то — во! — таскали, — он широко раскинул руки.

Анатолий Евсеевич взял воронку, поллитровую бутылку, кряхтя встал, пошел к «буржуйке». Подложил дров в печку, слил первач. Анатолий Евсеевич раньше работал на железной дороге диспетчером. Сутки отработает, двое дома. Держал всегда корову, поросенка. Да и как без скотины в небольшом поселке, где не все в магазине купишь. Времени на все хватало: и с хозяйством управиться, и в город съездить, и покутить иногда с друзьями, ну а рыбалка — святое дело. На

месяц, а то и на три вперед с Борисом график составляли. Он свои дежурства берет, Борис — свои. И бывало, не одну стопку пропустят неразлучные друзья, пока не выберут все совпадающие выходные. Жены против рыбалки не возражали: они тоже были подругами и брали заботы по дому на себя. По зрению и по возрасту Анатолий Евсеевич вынужден был уйти, как говорят, на заслуженный отдых. Эх, не подвели бы глаза... Начальник согласен был оставить, но медики зарубили. Он со злостью пнул ненавистные очки указательным пальцем к переносице, громко поставил бутылку на стол.

— А ты не психуй, не психуй! Помнишь: «Выйду на пенсию — жить буду на Журавлихе», — передразнивая друга, бубнил Борис Степанович. — А где живешь? В хлеву! Все, смотрю, на себя взял. Раньше одна корова была, — а теперь? Стадо! Верка теперь и не подходит к скотине.

— Так она работает...

— И раньше работала, — Борису было жалко друга. Он знал, что тот ташил на своем горбу непутевых своих детей. Те совсем отбились от рук, малышей настрогали, а толку... Помощи нет, только дай.

Разговор грозился перерасти в перебранку, и более дипломатичный Толян подвинул полную стопку своему вечному оппоненту. Они и раньше частенько ссорились по пустякам и дулись друг на друга до смешного: не здоровались, не разговаривали по нескольку дней. Мирил их календарь. И у Бориса Степановича, и у Анатолия Евсеевича на кухне висели большие настенные календари с обведенными датами. Кружочки совпадали. «Ты червей накопал?» — спросит басовито Борис. «А ты мотоцикл заправил?» — в ответ спросит Анатолий. Вот и помирились.

Борис Степанович зевнул широко, не прикрывая рот. Старик в темном окне беззвучно рыкнул. Фуражку он давно снял, и от этого отражение в окне потеряло свою принадлежность. Чужое, изможденное лицо, страшные глаза, впадины под скулами — все напоминало Борису Степановичу прошедшие сутки. Он плохо помнил, о чем разговаривали они с другом. Помнил только, что снова поругались, потом помирились. Толян что-то про соседку, что через дорогу, говорил. А, вспомнил: снова сватал... Борис, пока был при памяти, порывался домой — отдохнуть перед сменой. Потом снова забывал. Разговор с другом уносил его далеко. Они в обнимку ходили подбрасывать в печку дров, сливали самогон в бутылки, носили в погреб, меняли воду в охлаждающем бачке.

Первач срубил быстро. Борис Степанович лег отдыхать не потому, что его растревожила сознательность, а просто потому, что пришло время... Сосед уложил его под навесом, прикрыл фуфайкой. Теплый октябрьский день закончился, к вечеру похолодало. Чувство времени, выработанное годами работы на железке, и бодрящий холодок подняли Бориса Степановича почти вовремя. Он прикрыл рядом спящего друга, посмотрел на часы. Электричка через сорок минут. Только теперь он почувствовал, что его знобит. В голове носились рои пчел и еще всякой летающей и гудящей твари. Самогонный аппарат, уже разобранный, стоял рядом. Печка давно потухла. Борис Степанович на всякий случай потрогал ее холодный металл — не случилось бы пожара. Он подошел к столу, налил пол-стопки, «поправил» здоровье. Собрал со стола остатки разбросанной пищи. Он привык не оставлять следов: скоро Верка явится и у Толяна могут появиться неприятности.

В электричку Борис Степанович запрыгивал уже на ходу. Тормозок, состоящий из остатков недавнего пира, он прихватил с собой. Под перестук колес «накрыл стол» прямо на деревянной скамье. Напротив спал мужичок в потрепанной одежде, у его ног стояла сумка с пустыми бутылками. На характерный звук мужичок среагировал, как машинист на сигнал бдительности. Он поднял нечесаную голову, жадно посмотрел на стакан, сглотнул.

— На, поправься, — крикнувши, протянул стакан Борис Степанович.

В голове его мешаниной запрыгали воспоминания сегодняшнего дня, далекой юности... То вдруг набежали внуки. Женька, озорник, уже теребил его уши, пытаясь укусить за нос... Тут же он оказался на Журавлихе. Перед глазами запрыгал поплавок, выкатилось огромное солнце. На лугу туман. Только тихо журчит родничок...

III

Электричка резко остановилась, Борис Степанович проснулся. Уже стемнело. Множество огней за окном подсказали ему, что он приехал. «Сортировка», — мелькнуло в мозгу. Борис Степанович пошарил рукой под скамьей. Тормозок исчез. Мужичка напротив тоже не было. Он, как угоревший, рванул к выходу, глядя на ходу колючую шетину. К медикам появляться нельзя — сразу на тепловоз.

Прыгая через рельсы, шпалы, Борис Степанович спешил к тепловозу. Часы показывали уже восемь. «Опаздываю. Сейчас тронется». Он не мог понять, что сделалось со временем. Он твердо знал, что должно быть только семь. Может, электричка опоздала. Заспал, не помню. Пулей заскочил Борис

Степанович на тепловоз. Машинист удивленно посмотрел на него:

— Сказали — я сегодня в одно лицо. Тебя откуда направили? — машинист был тоже в возрасте и сразу начал на «ты».

— Я из Ревды.

— Ни хрена себе — уже из Ревды к нам гонят. Что поделаешь — у нас с помощниками завал. Василий, — он подал руку.

— Борис.

— Ты медика проходил? Что-то ты вроде... того...

— Похороны у нас в поселке. Помогал, — соврал Борис Степанович.

— Да я ничего. Пойди, глянь давление.

Борис Степанович сходил в машинное отделение, снял показания манометра, пришел, доложил:

— Четверочка, все нормально.

Потом он взял ветошь и пошел протирать двигатель, поручни, стекло.

— Что значит старая гвардия, — довольно говорил машинист, — а теперь молодежь не заставишь за вехотку взяться. Лентяи.

Диспетчер по радиации прочитала приказ на выполнение работ.

— Понял, на двенадцатый путь... Приказ номер двадцать пять. Машинист Михеев. Диспетчер Богачева.

Борис Степанович без напоминания машиниста взял журнал отметил:

— Восемь двадцать пять, — как и положено, вслух прокомментировал он запись.

Шла обычная работа. Михеев Василий, настороженно встретивший Бориса, теперь был доволен. Все он выполнял как нужно, без напоминаний. Дублировал команды, вовремя следил за приборами. Поставил чай, извинился, что нет

заварки и сахара, — сперли тормозок в электричке. С кем не бывает. Заварка в тепловозе была, она передавалась из смены в смену. Сахар, печенье Василий выложил на столик.

Борис Степанович уже который раз ловил себя на мысли, что здесь что-то не так. Куда-то девался час времени, почему-то локомотивное депо близко и как будто стало меньше. Михеева он не знал, хотя большинство маневровых машинистов были ему знакомы. Может, просто в одну смену не попадали. Был когда-то Михеев Николай машинист, так он уже лет десять, как на пенсии.

— Давно работаешь? — пошел в разведку Борис Степанович.

— Тридцать третий годок.

— А я уже тридцать шесть лет отпахал и все на одном месте. Думал, что всех машинистов знаю, а вот же... Я ведь год, как к вам езжу. И раньше по нескольку месяцев бывало... А Николай Михеев тебе не родня? Машинистом тоже работал, на пенсии сейчас.

Теперь пришла пора удивиться Василию. Странно, думал он, первый раз слышу, чтобы к нам из Ревды помощников присылали. А может, не попадал в смену, вот и не знал. И Михеева Николая не знал. Странно.

Когда проезжали мимо песочницы, Борис Степанович не выдержал:

— Как это песочница здесь оказалась?

— Она всю жизнь здесь. У тебя после похорон башка точно набекрень, — по-доброму засмеялся Василий.

— Диспетчер новенькая, что ли? — снова щупал Борис Степанович.

— Светка? Да она бабушкой стала на этой должности.

Диспетчеров на Сортировке Борис Степанович знал всех. Светланы Богачевой он не помнил. Поступила команда та-

шить полувагоны в западную горловину. Проезжая вокзал, Борис Степанович прочитал: «Асбест».

— Что с тобой? — спросил Василий.

— Ничего, только почему по этому пути? — сморозил что взбрело в голову Борис Степанович, упираясь лбом в холодное боковое стекло. Его широкие глаза, отвисшая челюсть вызвали снисходительную улыбку Василия.

— Ты же сам слышал приказ диспетчера. Ну, паря, у тебя действительно сегодня в голове базар. Слушай, Борис, сейчас подадим полувагоны под погрузку, и ты можешь быть свободен. Отдохнуть тебе нужно. Дальше работы уже не будет до самого утра.

В душе Борис Степанович аж подпрыгнул.

— Спасибо, друг. У меня действительно что-то крыша поехала. А когда последняя электричка на Дружинино?

— Через... двадцать... пять минут, — Василий смотрел на часы. — Я сейчас тормозну, ты выскакивай, еще успеешь. А я сам подам. Больше работы все равно не будет. Маршрутный лист я отмечу. Фамилия-то твоя как?

— Копытов Борис Степанович!

— Чудной, — подумал вслух Василий, наблюдая, как прыгал через рельсы его помощник. — Успеешь! — кричал ему влогонку, трогаясь с места.

— Дурак! Старый идиот! — вслух обзывал себя Борис Степанович на ходу. Почти смену отпахал в Асбесте. А в Сортировке прогул. Выгонят. Инструктор уже предупреждал. Ну и черт с ними. Я уже свое отработал. Все, о работе ни слова! Домой!

Борьба со сном продолжалась. Как назло, поговорить не с кем. А при виде храпящих, редко рассаженных пассажиров рот сам растягивался, глаза невидяще таращились в окно. Ну и рож! Чисто Будулай! Борис Степанович прошелся по вагону, пересчитал пассажиров: их оказалось шесть человек. Все спали. Чем еще заняться? Снова сел на деревянную, отполированную штанами лавку. У того, что у дверей, пиво в пакете. Оно повалилось на пол, каталось в ногах. Пять или шесть бутылок. Но не будешь же будить человека только потому, что приспичило пить. А может, разбудить? Я бы понял и не обиделся. Разбужу, деньги есть — заплачу.

Борис Степанович снова пошел по вагону, только теперь он шел целенаправленно. Он тронул за плечо спящего мужчину средних лет, тот не реагировал. Потряс за плечо сильнее, потом тряхнул с силой. Мужчина открыл посоловелые глаза:

— Приехали? Где мы? — пьяно спросил он.

— Тебе куда?

— До конца.

— Еще долго. Слушай, пива продай. Душа горит.

— Ты чо? Это тебе чо — магазин? Бери... пей! Понимаю... —

Он снова уронил голову и уснул.

Борис Степанович взял бутылку, положил вместо нее в пакет рубль. Пиво оказалось холодным. Приятная волна прошла по телу. В мозгах просветлело. Теперь происшедшее с ним в Асбесте казалось очередным забавным эпизодом его жизни. Он улыбался, смотря в окно. Сколько с ним всего происходило... Темное окно в полутонах грубыми мазками нечетко вырисовывало его небритое лицо. Он не находил его страшным. Ну, побриться, постричься — и еще ничего. Борис Степанович еще нравился женщинам.

Приеду домой, зайду к Зое, пусть переходит ко мне. Встречаемся уже пять лет и не решим, где жить, под чьей крышей. От людей стыдно: не молодые уже по свиданиям бегать. Ее домик продадим. Мой и просторнее, и огород больше, стайку недавно починил. С работой все... Выгонят. Да я и сам уйду. Купим корову, поросенка... Борис Степанович вспомнил друга-соседа. От Верки, наверное, досталось... А мне от начальства достанется.

И снова его унесло на Журавлиху... Поплавок запрыгал, морща водную гладь. Клюет, клюет... Подсекать нужно. Он дернул мнимую удочку и проснулся. Что-то нехорошее шевельнулось в груди Бориса Степановича. Он громко сглотнул сухой ком. Из открытых дверей потянуло осенней прохладой.

— Конечная, выходите, — громко скомандовала какая-то женщина. В вагоне остались только мужик с пивом и он. Женщина поставила ведро и стала мести веником вдоль центрального прохода, как бы подгоняя Бориса Степановича.

— Е кэ лэ мэ не! — почесал он затылок. — Одна беда не ходит.

V

Он сжал кулаки, втянул ноздрями бодрящий воздух, громко выдохнул. Второй час ночи. Домой добираться нечем. Что за напасть сегодня, прямо Бермудский треугольник. Вокзал на ночь закрывался с приходом последней электрички, и как Борис Степанович ни уговаривал старушку войти в положение и разрешить скоротать ночку на лавочке в маленьком вокзальчике, та была непреклонна. Не помогло даже удостоверение железнодорожника.

— Железнодорожники такие не бывают, бандюган. Хуражку еще натянул. Будешь шарaboшиться тутa, живо милицию позову. Ишь, документ сует. Знаем мы эти документы, — старушка в слове документ ударение ставила на втором слоге, что развеселило Бориса Степановича.

— Документ ей не нравится, — передразнил он старушку и побрел бесцельно в поселок.

Он знал, что спорить с «божьим одуванчиком» бесполезно. Нужно искать ночлег. Может, кто пустит. У Бориса Степановича в поселке жил друг, но явиться его супруге на глаза среди ночи и в таком виде никак нельзя. Она и так его не шибко жаловала, считая, что он, окаянный, сбивает ее Мишку с пути истинного. Еще ей не нравилось, что Борис, пользуясь своей свободой, заглядывал иногда в гости к соседке — Марии, и та после таких визитов обычно весело напевала, управляясь по хозяйству. Ее все еще тревожила поросшая мхом ревность. В молодости она и сама была к нему неравнодушна.

К Марии тоже нельзя: сын вернулся из армии. Думай, думай, Борис, подгонял он себя, бесцельно шагая по пустынной улице.

Вдруг, оторвав взгляд от дороги, он увидел свет в окошке деревянной избы. Входная дверь была отворена, в сенях горела тусклая лампочка, с фасада оба окна тоже светились. Ноги сами понесли Бориса Степановича на свет. Он ни о чем не думал, не знал, что скажет хозяевам, ни на что не надеялся, и вообще им овладело полное равнодушие. Внутри было пусто и тихо, как в склепе.

Дверь в сенях отворилась со скрипом. Прямо посередине горницы стоял гроб. Острый нос покойника откидывал двойную тень: одна, от тусклой двадцатипятиваттной лампочки, неподвижно легла на одну половину его бледного лица, другая, от

свечки, блуждала по подбородку, задевая руки, скрещенные на груди. Свечка располагалась за головой покойного, и ее огонь колыхался от дыхания старушки, читавшей молитву. Борис Степанович хотел дать задний ход, но было поздно. Старушка подняла на скрип глаза. Она не удивилась позднему визиту.

— Здравствуйте, — голос Бориса Степановича звучал скорбно.

— Здравствуйте, — на глазах старушки появились слезы, подбородок ее задрожал, она поднесла к глазам платок, — помер наш Прокопий Кириллович, — продолжала она тихо уже заученный текст. — Тихо помер: лег и не проснулся. Не мучился сам и других не мучил, добрая душа. Царство ему небесное, — она перекрестилась. — Я сейчас Ивана Кирилловича позову.

В дверях появился бородатый мужик. Шаркающей походкой он подошел к Борису Степановичу, подал руку.

— Вот видишь. Живешь, живешь... А ведь он младший. Вперед поспешил... Нехорошо. Откуда приехал? — глаза его увлажнились.

— Из Асбеста, — не соврал Борис Степанович и опустил взгляд.

— Так, так... Меня Иваном звать, я брат его буду. Старший. На три года меня младше Проша-то. Поспешил, поспешил... — Иван Кириллович кивнул в сторону гроба, скорбно покачал головой.

— Борис Степанович я. Знал вашего брата, — Борис Степанович еще ниже опустил голову. «Одна беда не ходит, — подумал он, — накаркал».

— Хорошо, что друзья помнят. Хорошо... Борис, значит? А что, Борис, устал? Пойдем.

В другой комнате, видимо служившей хозяевам спальней, справа стоял разобранный диван. Кто-то спал, прислонившись к самой стенке, тихо похрапывая. Комната перегородо-

жена пополам. За сатиновой перегородкой послышалось сопение, скрипнула кровать.

— Здесь будешь спать, — Иван Кириллович указал на диван, — а сейчас пойдем на кухню, чаем напою с дороги-то.

Они снова прошаркали через горницу и повернули на кухню. Дверной проем был занавешен белой простыней. Борис Степанович только теперь понял, почему он сразу не заметил вход в кухню. В горнице телевизор, трюмо тоже были накрыты простынями. Оказавшись за столом, Иван Кириллович преобразился. Он потерял ладони:

— Тебе с устатку бы надобно... маленько. Продрог ты, смотри. Я сейчас.

Шаркающие шаги удалялись в сторону спальни. Послышался низкий, с хрипотцой, женский голос, через какое-то время снова. Иван Кириллович, видимо, говорил шепотом, его слышно не было. По тону произносимых женщиной фраз Борис Степанович понял, что Иван Кириллович не уговорил хранительницу запасов. Без сомнения, эти запасы были в надежных руках за сатиновой занавеской. Иван Кириллович скоро вернулся с озабоченным лицом.

— Мне как-то неловко, да и не охота, — гость не врал. Ему хотелось добраться до диванчика.

— Ничего, ничего... ты не беспокойся, — сказал. Иван Кириллович, — мы разведчики, знаем, где, что и почем. — Он достал карандаш, вырвал из засаленной тетрадки лист бумаги и стал писать:

«Дуся, дай Ивану бутылку водки. Приехал Борис Степанович из Асбеста, родня Проши. Клава». Борис Степанович смотрел, как старательно женским почерком выводит буквы Иван Кириллович, и удивлялся находчивости нового знакомого. А тот с хитрой улыбкой свернул лист вчетверо и быстро вышел, совсем не шаркая ногами.

Разговор затянулся до утра. Уже с рассветом, не без помощи Клавы, Борис Степанович в обнимку с новым родственником улеглись отдыхать. Так в обнимку они и проснулись от Клавиных тычков и голосов в горнице. Собирался народ на похороны. Борис Степанович вместе с другими мужчинами выносил покойника на улицу. Несли до конца улицы, там ждала машина. Сердце трепыхалось перепелкой, пот валил градом, во рту пересохло. И не уйдешь. Для одних он теперь родственник, другим — друг покойного. Иван шел впереди. Тяжело дыша и кряхтя, он то и дело свободной рукой смахивал пот со лба. Похоронили быстро. Вдова поголосила, как водится, бабы поревели, жалеючи ее.

Сразу после поминок Борис Степанович засобирался. Он чувствовал себя не в своей тарелке и боялся, что снова влипнет в какую-нибудь историю. Его как будто ведун хороводил последние двое суток. Он словно себе не принадлежал. Все случалось помимо его воли, и это пугало Бориса Степановича.

На уходящую электричку он посмотрел с ненавистью и злостью. Его покачивало от усталости и недосыпания.

— Автобусом поеду — надежней.

В автобусе рядом села женщина из его поселка. «Теперь не просплю», — только и успел подумать Борис Степанович.

Дома. Наконец-то. По родному скрипнули половицы. Борис Степанович включил свет, сходил за дровами, проведal собаку. У пса в миске осталась зализанная каша. Сосед. Затопил печку, сел на низкую скамеечку и, глядя на набирающий силу огонь, задумался. Кот спиной терся о штанину и громко мурлыкал, преданно заглядывая ему в лицо. Глухо хлопнула калитка, послышались знакомые шаги. В груди что-то шевельнулось и разлилось благодатью по всему телу. Печка, истосковавшись по сухим дровам, весело запела.

— Ты где пропадал двое суток? Я уже в депо звонил... Верка у меня дома. — Толян воровски оглянулся на порог и поставил сверток на стол: — Тут и закусочка. Голодный, поди?

— Да как сказать... Ты баньку, случаем, не топил?

— Она у меня завсегда теплая: скотине вода нужна. Хочешь париться — подброшу.

— Мне не до парилки.

— Так вот, звоню, значит, в депо, а они: «Его не было». Я говорю: «Он уехал», а они: «Значит, не доехал...»

— Переехал я, Толян... два раза. Одна беда не ходит, — Борис Степанович почему-то широко улыбнулся и похлопал друга по плечу.

СКОКА МОЖНА...

Если бы да кабы... Если бы Лом, как прозвали путейцы этого тшедушного мужичишку, смог вовремя остановиться, бросить этот опостылевший молоток и тяжеленную лапу, провались она пропадом, да успеть на склад, то он тоже имел бы сапоги. А так — после работы все уже в общаге винцом балуются да девок шупают, а он все машет молотком или первый снег метет — завтра бы по чистому работать, да чтоб инструмент не притрусил. Он и утром раньше всех спешит. Работа дурака любит...

Ко складу друзья его направят, а там замок уже размером с портфель кладовщика Иван Ивановича. Чмокнет он его в засос и снова в общагу без сапог.

А сапоги знатные выдавали на зиму — кожа вороным крылом отдает, мех внутри мягкий, замок-молния играет, рыпает туда-сюда легкой серебряной дорожкой. Нет человека в бригаде и во всем СМП, не примерившего обнову. Один Митька Лом не сподобился получить положенную обувь.

Ломакин Дмитрий Вениаминович кличку получил словно в издевательство какое. Сам согнутый тяжелой работой, с вытянутыми ниже колен руками — метр с шапкой. Лом! Какой там лом, он больше на скобу смахивает. Однако ж прилипло. Ну, Лом так Лом.

К сапогам еще и полушубок дают. Да что там полушубок. Это дело привычное. Сколь полушубков уже истаскал по серверам, а вот сапоги меховые впервой — раньше-то все валенки давали.

— Ты что же, Лом, сапоги не получаешь? — спрашивает Санька Смехов. — Может, фасон не глянется?

Хихикнул и смачно влепил карту в стол.

— Дык, того, замок тама, — машет рукой Лом.

— Где замок? — не понял здоровенный, как бульдозер, Леха Малек (Малышев, значит, по паспорту).

— На складе замок, где ж ему быть? — Лом чешет затылок.

— А заявление написал? — сквозь зубы, зажимающие папиросу, процедил с южным акцентом мохнатый Дамир.

Все засмеялись.

Лом засопел при упоминании заявления. Взялся мести пол. Так всегда: только что не по его, тут же за работу, какую сподручнее, берется. Каждый вечер так. Только про заявление услышит, тут же замкнется, и ни слова больше не вытянешь. Хоть и так не говорун, а тут вовсе немым сделается. То посуду перемоем молча, то пол выскоблит. Сопит и знай свое делает.

Всегда так. Бывало, заберет его обида какая на слово неловкое или просто так работа не по нему сделана — возьмет лопату и давай подбивать шпалы или болты подтягивать: устраняет брак, сопли, как говорится, подбирает за другими. Никто ему и слова доброго за то не скажет, но то его не колышет — сделано было бы добро и на совесть.

Так его никто не замечает, когда бригадой пластаются, шпалы шьют. Никто ж учета не ведет, сколько кто костью вогнал в смоленные шпалы, все в общем котле дымится. Ни для кого не секрет, что за двоих намашется Лом. Может, и Ломом нарекли за то, что ломовой напористости был этот невзрачный на вид человек.

Но случился однажды такой вот случай. На той стройке, еще под Тайшетом. Оттуда многие в Тюмень приехали. Закончили уже строительство дороги, и Лом работал путей-

ским рабочим в тамошней путевой части. Обход они делали плановый. Сели перекурить, много уж километров намотали. Перед мостом, значит, перекурить решили. Тут и вода рядом, чайку можно сварганить. Мужики курят, а Лом пошел на мост поглядеть. Не сидится на месте.

— Поезд пропустим и дальше пойдем, — сказал мастер.

— Что ж, пропустим, — согласились мужики.

Кто хворост начал собирать, кто на реку — лунку рубить, чай сварить решили. Место сподручное передых устроить.

Лом уж по мосту марширует, ковыряет круглым носком валенка каждую шпалу да рельсы пинает. Так просто, от нечего, как говорят, делать. И вот видит: рельса лопнувшая и сместилось место разрыва. Пошупал рукой, осмотрел внимательно, понятно, что старая трещина, не заметили просто раньше. Бежать, бригадиру о находке доложить, как положено, времени нет, потому как знает Лом, что поезд уже где-то на подходе. Да вот же и слышно уже за поворотом. Помчался что есть духу навстречу. Валенки большие, запинаятся, дух захватывает, в груди чо-то сдавливает, а он бежит, стягивая на ходу фуфайку ватную, дальше и шапку бросил. На кривой поезд враз намалевался во всей своей красе. Дал «остановку» Лом и свалился в сторону, отполз по снегу подальше. Над самой головой оглушило его трубным гудком, закрипели тормоза, сыпануло искрами из-под колес. «Экстренное торможение включил», — потеплело в груди, даже задышалось легче.

Бригадиру тогда сам министр именные часы вручил «за предотвращение крушения». Лому тридцать рублей к премии прибавили.

Так везде Лом неприметный, еще и поддергивают кому не лень. И тут в общаге тож.

— Ты бы женился, Лом, Варька вон сохнет по тебе, а ты...

Женитьба еще одна опостылевшая тема. Варька такая же, как и он. Натуры схожие, вот и травят то его, то Варьку. Больше бы молчали, может, давно бы дело сделалось.

...Лом сопит пуше прежнего. Ужин готовит — продукты-то общие. Лапшу сварил, с тушенкой смешал, луком жареным заправил... Холостяцкое блюдо — быстро и сытно.

— Айда кушать! — скупой обронил.

— Ты, Лом, не обижайся, — мягко говорит за ужином Санька, понимая, что достали уже Дмитрия, — но заявление напиши да оставь вахтерше. Она и получит за тебя. Все равно там уже нечего примерять — одни сорок третьи остались. Ты какой носишь?

— Сороковой, — глухо ответил Лом и засопел.

«Сорок первый еще куда бы ни шло, — подумал Митька Лом. — Хлябать, однако, будут. Ну, ничего, портянки подмотаю — только теплее будет», — стал тешить себя и улыбнулся.

— Чо лыбишься, ешкин кот, портянки подматываешь, — словно угадав мысли Лома, мотнул головой Санька, — чужак человек.

Попили чаю с твердыми, как кирпичи, пряниками. Лом убрал со стола посуду, Санька стал сметать крошки. «Вахтерше нельзя доверять... Она курящая». Курящих женщин Лом не любил. Он до северо-востока никогда не видел женщину с сигаретой. Только в кино. И то думал, что это специально делают, чтобы вызвать противность к отрицательному персонажу, а так, в жизни, женщина курить не может. «Как же доверишь вахтерше. Она еще два левых возьмет. Несерьезная... А Иван Иванович, кладовщик, тоже хорош. Он что, не знает, что я поздно с работы прихожу? Мог бы дождаться...»

— Слушай, Лом, теперь без шуток: напиши заявление. — В голосе Саньки не было обидных ноток.

Лом долго искал листок бумаги в своей тумбочке. Нашел старую, затертую тетрадь, непослушными пальцами неровно оторвал лист. Нашел ручку, сел спиной ко всей компании. Долго смотрел в окно. В темном стекле отражалось его худое лицо с наморщенным лбом. Испарина прорезала виски, загорело в мозгах. «Легче смену отмахать, что б его... это заявление». Он не знал, как начать.

Все уже давно ходят в сапогах, а у него сапог нет. Ему нужны сапоги, потому что только у него нет сапог. Уже зима... Как же он один без сапог останется? Обидно... Все вроде понятно, но то на словах... А это ж написать надобно. Не привыкла рука бумагу марать.

Друзья смотрели на его сгорбленную спину. Никто даже не хихикнул, не шелохнулся, боялись спужнуть. Запрямится — потом без сапог останется.

Вдруг голова Лома встряхнулась, в его фигуре появилась решительность, и он стал корявым почерком писать:

«Заявление». Долго думал, чесал ручкой затылок. «Скока можна без сапог. Прошу сказать Ивану Ивановичу пусть дождетца». Поставил подпись: «Лом» с закорючкой. Непослушные пальцы разжались, ручка выпала, покатила в сторону окна, но Лом ее не видел. Его душа предчувствовала что-то важное и значимое. Такой душевный порыв он испытывал редко, обычно перед очередным зигзагом судьбы.

Вдруг он представил себя в сапогах, рядом с Варей... Оглянуться не посмел: вдруг исчезнет... За его спиной никто не шелохнулся.

Лом громко выдохнул, как после тяжелого испытания, плечи его безвольно упали. Он, улыбаясь, медленно сложил листок вчетверо, сунул под подушку и лег спать.

ВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НЕВОЛЬНИКА ТИМОХИ

Хорошо ли живетя Тимохе

Кому на Руси жить хорошо? — вопрошал когда-то классик. На извечный этот вопрос и сейчас ответа не сыщешь. Вопрос, скажете, риторический...

А я знаю кому — Тимохе.

Никакой необходимости в поездке на дачу не было: картошки дома еще достаточно, а среди зимы дело на даче, даже если бы очень захотелось поработать, что со мной и в добрую пору редко бывает, сыскать не легко — сезон глухой. Из поезда, к слову, единственного в сутки, я вывалился в гордом одиночестве: нет дураков в тридцатиградусный мороз на дачи ездить.

— Как дела, Тимофей? — спрашиваю лежащего под теплым одеялом детину. Обивая березовым веником снег, обываю к сумеркам: окна занавешены плотными шторами, чтоб свет не мешал спать хозяину. Тимоха включил ночник.

— Лучше всех, — неизменно ответит, — гы, гы, гы-ы-ы! — улыбнется широко от всей души, обнажая крепкие передние зубы, словно специально уцелевшие для видимости. Дальше зубов нет — болезненно отдупились, рассыпались и окоренились, сравнившись с воспаленными деснами. Как говорится, со лба красив, да с затылка вшив.

— Время-то уже послеобеденное, а ты все подушку мнешь!

— А, работа не волк, в лес не убежит. Вчера погуляли маленько... Отсыпаюсь.

— С днем рождения тебя, Толян! — я пожал его ленивую, мягкую, никогда не знавшую мозолей руку. Он сел на самодельном топчане, не снимая, однако, с плеч одеяло. Топчан прилепился к печке плотно. Даже уклон сделан в сторону теплой печной кладки, чтоб не скатиться Тимохе на пол, не отлепиться бы от тепленьких, затертых боками до блеска кирпичей.

Тут я должен внести ясность: зовут Тимоху Анатолием, но все привыкли — Тимоха. Фамилия у него созвучная — Тимофеев. Анатолием Петровичем величают младшие и редкие гости, интеллигенты и бывшие интеллигентные люди, заезжающие иногда на дачи подышать лесным вольным воздухом. Иногда говорят ему — Толян. Но никто не знает, что по паспорту он Георгий и в юности все звали его Жоркой. Только мама почему-то кликала его Толей. Почему так сложилось, сам Тимоха вразумительно растолковать не может: мал был, за него все решалось, а ему, Жорке, приходилось принимать все как есть. Может, и жизнь его складывалась путано из-за такой катавасии.

Я достаю резиновые сапоги-болотники, купленные еще осенью специально для Тимохи. У него-то прохудились: жаловался как-то, что совсем расползаются, заплаты уже негде ставить. Но там дальше дело в зиму вошло, и сапоги, припасенные для него, ждали случая.

— Готовь сани летом, а болотники зимой, — я вручил Тимохе новенькие блестящие сапоги.

— Спасибо, родненький, — глаза еще не проспавшегося Тимохи, несмотря на послеобеденное время, сощурились, излучая неподдельную радость. Он окончательно сбросил

стеганое одеяло и тут же примерил обнову. — А эти уже отслужили свое, — и он пнул новым сапогом обрезанные по шиколотки обрубьи. — Теперь это мои комнатные тапочки. Спасибо, очень кстати.

— Я рад, что угадал.

— Еще как угадал... и угодил. Может, чайком побалуешься?

— С морозцу можно.

Чай густо курится ароматным паром. Только теперь замечаю, что в избе не жарко. При чайном разговоре горячее дыхание парит, и вылетающие слова, кажущиеся материально обрамленными курчавыми линиями, быстро растворяются в сизом дыму. Накурено. Окурки, складываемые Тимохой в грязную, неизвестно из-под чего тарелку, громоздятся горкой и уже падают на стол, смешиваясь с крошками, картофельными ошурками, пробками от бутылок, огрызками соленого огурца. Грязная посуда разбросана по полу. Неизвестный мне раньше пес — спаниель, встретивший меня на пороге, отмахал положенное своим обрубком-хвостом, облизал мне руки, прилег в углу, положив коричневую морду на передние лапы. Исчезла веселая хитринка, и глаза грустно уставились мне в лицо. Конечно, тарелки на полу это его работа. Низкий стол, на манер хантыйского, для него не помеха.

— Прибился по осени, — перехватив мой взгляд, поведал Тимоха. — Охотнички потеряли. По пьяни, видно... Давно ходит кругами. Мои собаки трепку ему задали, убежал сначала куда-то. Потом смотрю: снова топчется тут — голод не тетка. Все дачники уже разъехались, значит, думаю, потерялся. Вот взял. Куда ему зимой?

— Тебе же самому жрать нечего...

— Жалко животинку. Молодой совсем, сгинет. Ничего, прорвемся! Да, Баксик? Я закурю с вашего позволения, —

Тимоха посмотрел на меня и, дождавшись моего «Да ради Бога, ты же дома», прикурил. — Баксом зову, — продолжил он.

Бакс при упоминании своего имени насторожился. Приклеилась уже клочка. Я поставил кружку с чаем на отвоеванный у мусора пятачок, расшнуровал рюкзак.

— Сейчас, Баксик, угощу чем-нибудь.

— Не нужно его баловать. Он не голодный. Вчера гости были, день рождения праздновали, так он все остатки, паразит, подчистил.

Бакс снова шевельнул ушами. Я хотел угадать масть собаки, но сделать это было весьма затруднительно: серо-грязная шерсть, свалывшаяся местами, не имела определенного цвета. Коричневая мочка носа намекала на то, что по спине должны быть рыжие пятна. Спина, действительно, имела темные разводы.

Только теперь я заметил, что угловая тумбочка пустует.

— Где телевизор?

— Сгорел, — обреченно выдавил Тимоха. — Скучно без телека. Но ничего, скоро пенсию получу..

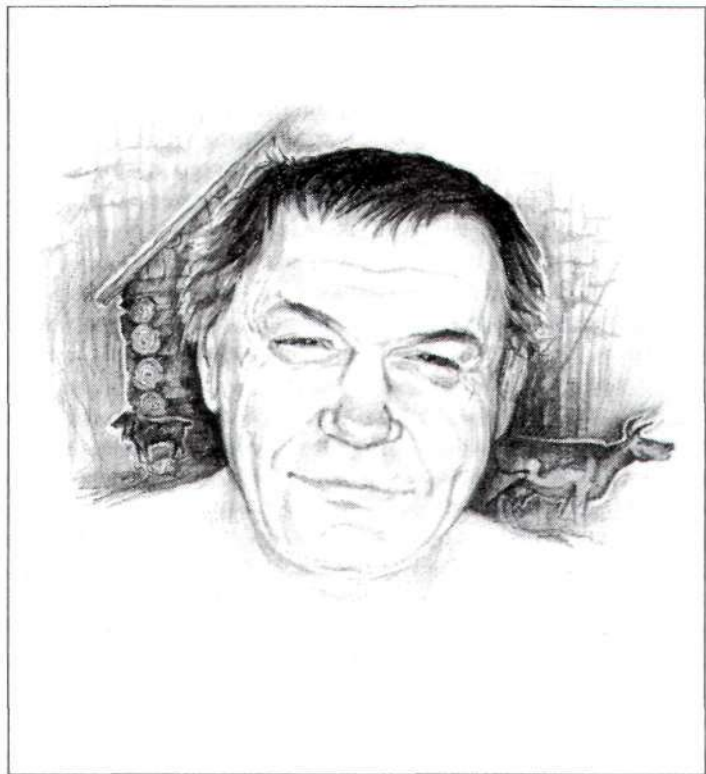
— Как это — скоро? — удивился я. — Тебе ведь только полтинник стукнуло.

— Так у меня «горячий» стаж. Больше двенадцати лет. Документы кое-какие собрал. Возни много. А в город не наездишься. Тут за свет нечем платить, не то что за билеты.

— Хочешь, я тебе телек подарю?

— Да, ну!?

— Seriously! Он у меня на чердаке уже второй год лежит, так что подкатывай через часок-другой с санками. Мне он здесь, на даче, не нужен. Я сюда от него отдыхать приезжаю. И если не обидишься, спиритиком угощу — другого ничего нет.



— Я очень хочу обидеться, поэтому через часик буду —
нутри горит после вчерашнего. Гы-гы-гы! Ничего ж не оста-
лось, все выжрали... Хорошо погуляли... Гы-гы-гы! А ты —
«обидишься», — передразнил он меня. К Тимохе сразу вер-
нулось то великолепное расположение духа, которое прису-
ще людям, умеющим радоваться любой мелочи.

Он прошел к двери проводить меня. Иногда в нем просыпались замашки бывшего интеллигентного человека. В болотных сапогах и трусах, подтянутый, он выглядел молодежью. От природы крепкое тело, никогда не утруждаемое непосильной работой, казалось холемым: округлые плечи, гладкие, не мускулистые руки, в которых все же угадывалась незаурядная сила, лениво висели, подчеркивая наметившуюся талию. Раньше Тимоха был толст и грузен. Часто страдал от пережору. Мне не раз приходилось снимать тяжелейшие приступы печеночной колики. УЗИ как-то показало камни в желчном пузыре, но на операцию Тимоха так и не смог решиться. И, как показало время, правильно сделал.

— Однако ты постройнел.

— На одной рыбе да картошке шибко не растолстеешь. Да, кстати, я прошел медкомиссию, и на УЗИ в желчном пузыре камней нет. — Он достал из тумбочки заключение, и я с большим интересом прочел: «желчный пузырь обычных размеров, конкрементов нет».

— Уникальный случай! Я помню только один подобный: мужика осудили по ложному доносу, и он просидел под следствием без малого год. Похудел за это время на тридцать килограммов, а был до того довольно тучным. Так вот: избавился от камней в желчном пузыре и от начинающегося диабета. Вот так! Диета — великое дело! — поведал я Тимохе.

— Да какая на хрен диета — голодуха.

Уже несколько лет Тимоха, по паспорту Георгий Петрович Тимофеев, он же в детстве Жорка, он же Тимофей Петрович, более известный как Анатолий Петрович или Толян, живет на дачах. Случилась у него размолвка с его благоверной, и он, оставив все жене, не взяв с нее деньги за одну комнату в их двухкомнатной квартире, купил теплый рубленый

домик на дачах и стал там жить. Сначала казалось ему, что еще что-то изменится в его жизни, и это временно, но потом прикипел к этому месту и поселился здесь, видимо, навсегда. Баня, теплый сарай для скотины чуть не на десять коров из непропитанной шпалы, рубленый свинарник, вольер для кур, огороженный мелкой сеткой-рабицей, ледник для засолки рыбы и кусок жирной, удобренной земли соток сорок — пятьдесят. Можно, как говорят в Одессе, жить. Видно, давно его душа желала вольной жизни и дождалась. На работу устраиваться не захотел.

— Не хочу себя связывать, — отвечал он на вопросы о работе, — свобода, брат, вот главное. Я тут сам себе хозяин.

Длинными зимами устраивался Тимоха путейцем на железную дорогу чистить стрелки от снега на перегоне. Заработанное за несколько месяцев растягивал до следующего сезона.

Все считают его странным: здоровый мужик, а работать не хочет, живет один, хозяйство ведет с ленькой, вразвалочку. И каждый подходит к нему со своей меркой. «Да я бы на твоём месте... Да как можно так мусором зарастить...». А он: «Не лезьте мне в душу грязными руками. Живу, как хочу».

Как любим мы чужой кафтан примерять на свои плечи. Но если кафтанчик не по фигуре и сваливается с плеч, то не вините кафтан.

* * *

Я люблю растапливать печку. Наколел тонких сосновых щепок, ножом настрогал стружку, аккуратно сложил горкой, и вот уже первые теплые язычки пламени облизывают сухое смолье. Холодная печка наполнилась дымом, и сквозь щели между кружками чугунной плиты и по краям чугунины по-

тянул дымок в комнату. Отрегулировал печной дверцей и поддувалом так, что дыма стало меньше. Затрещало, потянуло. Я прикрыл дверцу, печка запела. И уже через считанные минуты от плиты пахнуло теплом.

Тимоха пришел с угощением. Принес соленые огурцы. Он всегда что-нибудь притащит. То рыбы соленой, то квасу березового, то пару луковиц со своего огорода. Не может с пустыми руками в гости явиться. Натура такая.

— Сам делал, — гордо произнес он и поставил двухлитровую банку на стол. — У меня нынче огурцы уродились, не знал, как отбиться. Насолил банок двадцать. У меня каждый год только огурцы получаются.

— Выглядят аппетитно.

— Ты попробуй!

— Хороши огурчики.

Огурцы у Тимохи удались.

Желая разыграть Тимоху, я спросил:

— Что будем на гарнир к свининке делать: вермишель или картошку?

Кипяток под вермишель уже забормотал в кастрюльке.

— Вермишель, конечно, — выпалил Тимоха, не раздумывая.

— А может, все же картошку? — зная, что она ему уже обрыдла, продолжал я в том же духе. — Картошка — это же второй хлеб.

— Это тебе — второй хлеб, для меня она и хлеб, и колбаса, и повидло... Вот здесь уже сидит, — он провел ладонью по горлу. Тимоха опрокинул спирт, запил минералкой. — Не люблю разводить, — сипло произнес он.

Похрустели огурцами.

— Кроликов покормил на ночь? — спросил я.

— Да какие там кролики? Нету кроликов. Мальчик съел, гад. Чуть не убил засранца! Трое суток не показывался на гла-

за. Потом отлегло... Забыл сарай на шеколду закрыть. Футбол по телеку у Петра спешил посмотреть. Все равно наши проиграли... Зря спешил... И кроликов лишился. Одно расстройство... — подвел итог Тимоха. — В прошлом году он же мне всех кур передал. Подрыл под сеткой-рабицей подкоп, сволочь такая. Я же застал его за этим гнусным занятием, но пока бегал за ключом в избу, он уже всех кончил! Всех до одной. А у меня их девять штук было. Каждый день по три-четыре яйца несли. Убить хотел сгоряча. А он, шустрый гад, промеж ног проскользнул и курицу унес. Три дня не показывался... Чует кошка, чье мясо съела. А потом сердце оттаяло. Но куриц-то я сам съел, не пропадать же добру, а от кролей даже ушей не осталось.

Три крольчихи и большой кроль-самец, великан, стали добычей Мальчика. Сытое мясное будущее Тимохи лопнуло, как мыльный пузырь.

— К стенке такого пса — один урон от него, — негодовал я.

— Жалко, я его щеночком маленьким взял.

И все у Тимохи так: за что ни возьмется, не получается, чтобы с прибытком дело шло, обязательно изведется и зачахнет. Правда, сам Тимоха не шибко кручинится.

— Ничего, переживем. Картошка есть, рыба насолена — прорвемся. С вашего разрешения, я закурю, — и он присел на корточки у поддувала.

— Кури!

— Телку хочу у Виктора купить. Все же легче жить будет, — Тимоха вопрошающе посмотрел на меня, — денег за зиму подкоплю, жена обещала помочь.

— Помирились?

— Да, вроде того.

Уже поздним вечером раздумянившийся Тимоха погрузил телевизор на санки.

— Ну, пока, Толян, я завтра утром уезжаю. Будить не буду. Не хочу лишать тебя здорового утреннего сна.

— Не нужно меня будить! Гы-гы-гы... Счастливо тебе. Если будет тяжело, высылай деньги — помогу... гы-гы-гы! — отпустив свою дежурную шутку, подал руку.

Его ссутулившаяся фигура, лениво покачиваясь, удалялась в темноту. Надо мною густились звезды. Млечный путь уклонялся в сторону и не совпадал с тропой, по которой, скрипявая, катил санки с телевизором Тимоха. Большая Медведица повисла прямо над избушкой, развернув свой ковш на север. Полярная звезда обнаружилась где-то там, откуда уже слабо доносились скрипучие шаги Тимохи.

Почему ревет телка

Раньше Тимоха мечтал завести козу, и я даже по объявлению нашел в Старом Вартовке подходящий вариант: продавалась коза с козлятами и козел в придачу. Позвонил: цена сходная. Хозяйка тяжело заболела, а молодые решили хозяйство пораспродать и спускали все за бесценок. Тимоха загорелся, но пока искал деньги да транспорт, выводок уже перекочевал к новым хозяевам. Горевал Тимоха не долго: на нет и суда нет.

А тут дело с телкой подвернулось. К весне подкопил Тимоха кой-какую сумму, недостающую ссудила жена. Виктор продал телку и снабдил Тимоху сеном до травы.

— Осенью приведешь к быку, обгуляется, и будет у тебя молоко и мясо. По-человечески заживешь. Знай, корми, — Виктору хоть и ведомы тимохинские лентяйские закидоны, но известно, что по доброте душевной скотину не обидит.

— Не беспокойся, голодной она у меня не будет, — Тимоха нежно погладил черную со звездой голову буренки.

Взялся за дело Тимоха с огоньком, чего раньше за ним не водилось. Поправил стайку, выменял на рыбу несколько мешков комбикорму. Соседи по дачам кто хлеб оставшийся принесет, кто очистки картофельные.

Напротив, через дорогу, весной трава сочная поднялась, есть где корове разгуляться. Часто можно было наблюдать, как Тимоха в полуденный зной березовым веником гоняет оводов от своей Зорьки. Вечером пойло сытное приготовит. Ну, короче, все чин чинарем.

Сено Тимоха заготавливал вместе с женой. Наметилось у них вроде как примирение. Каждый погожий день идут на пойму косить. Впереди жена с косой и котомкой — кормить же Тимоху нужно. А за ней вразвалочку вышагивает Тимоха, попыхивая сигареткой.

Шоркнет косу брусом заправски, плюнет на ладони... Со стороны кажется: вот пойдет сейчас валки стряпать по обе стороны. Но уже по первому взмаху видно, что трудовых рекордов не будет. Два-три прогона пройдет тихо, останавливаясь на каждом шагу, и передаст косу жене. Сам же уляжется в тенечке. Вжик, вжик, вжик — посвистывает в проворных женских руках коса, навевая дрему. Так с горем пополам навжикали стожок-другой.

А тут и осень пришла со своими заботами. Отпуск у жены кончился, наезжать стала к Тимохе реже, а потом и вовсе ездить перестала.

— Справная у тебя телка, — хвалили Тимоху соседи.

— Так кормлю, — он улыбается в усы, выращенные за лето для важности, а сам уже тяготеет хомутом на шее. Не дает ему телка вдоволь поваляться под любимой печкой. Лишила его свободы, не стало вольного воздуха. Утром трубит ухвастисто так, что сон нейдет, и вставать неохота. Напоит, когда уже невтерпеж. Дело стало до психу доходить.

А тут заревела телка натужно и как-то даже тоскливо. Сначала не мог смекнуть Тимоха, от чего она так горемычно баздает. То пойло принесет, то хлеба крошит. Перевернет ведро с пойлом, отвернется от хлеба телка. Что делать? Запаниковал Тимоха: может, заболела? А может, быка просит? — догадался он.

Повел к Виктору.

— Орет день и ночь. Может, ей быка нужно?

— Может, — Виктор пустил ее в загон к быку. У того глаза налились кровью. Ринулся он к своей телушке, а она уворачивается, не дается.

— Позже приведи, — говорит Виктор.

Бык бросается на ограду, рогами упирается в стайку так, что бревна шатаются. Волнуется растревоженная кровь.

На следующий день Тимоха снова ведет телку.

— Орет, сил нет.

Снова убегает она от быка, а тот, взбесившись, бьет своей чугунной башкой в сруб. Сутки не ест, никого не подпускает к себе. Бока ввалились, глаза бешеным огнем горят.

— Приводи, когда она будет готова, — говорит Виктор, — а то мы только быка тревожим.

— А как узнать, когда готова?

— А черт его знает, у моих коров как-то само собой получалось. Ну, приводи через два дня.

Через день Тимоха, не выдержав настойчивого мычания, лишившего его сна и отдыха, снова ведет, и снова она отказывается от красавца быка, а тот, еще не успокоившись от прежних свиданий, и вовсе свихнулся, трое суток бушует, не ест, не пьет, разносит стайку по бревнышкам.

— Что ж ты дразнишь быка?! — не выдержал Виктор.

— Не могу слушать, как она ревет. Скажи, как узнать, когда она будет готова.

— Ты сам сначала попробуй, если не откажется, тогда веди, — бросил в сердцах Виктор и ушел в избу.

— Тфу! — Тимоха смачно сплюнул, желваки заходили на скулах.

На утро выпал первый снег. Приехали мужики из города на охоту и остановились у Тимохи. Старые знакомые, друзья, с кем раньше работал на железке, оторвались от женских юбок покувыркаться.

— Чо она орет, как недорезанная? — спросил Ванька.

— Быка просит.

— Так сведи.

— Уже три раза водил, отказывается.

— Она зажирела у тебя, вон бока круглые. Я в деревне родился, — начал свою философию Леха, — так я помню, старики говорили, что перекармливать телку нельзя — у нее все тама жиром зарастает.

— Это как?

— А я почему знаю? Так говорят.

Спирт разгорячил головы охотников, тяжело надавил на страдающую голову Тимохи, и когда телка срывающимся голосом завела свою заунывную песню, кто-то сказал:

— Зачем мучаешь скотину? Уж лучше под нож.

— Так зарезать тоже нужно уметь... — еще сомневался Тимоха.

— Дурнэ дило нэ хытрэ, — бросил на хохляцкий манер Васька.

Дело сделалось споро. Тимоха и глазом моргнуть не успел, как мужики управились с привычной работой — охотники.

— Не переживай, Тимоха, мы у тебя мясо купим, ты и оправдаешь расходы, еще и с наваром останешься... Денег, правда, сейчас нет, потом отдадим. Ты же нас знаешь.

Наутро, похмелившись, мужики разобрали мясо и разъехались. Деньги отдавали частями. От кого-то Тимоха не дождался, а напоминать о долге не в его привычках, деликатность души не позволяет. Жена, узнав о такой Зорькиной кончине, прекратила всяческие отношения со своим горе-мужем.

* * *

Но на этом история с коровой не закончилась. Перед Новым годом я приехал на дачи за картошкой. Вечером зашел Тимоха. Узрев светящийся глаз моего окошка в зимней ночи, притащил тазик с копытами и коровью голову.

— Вот все, что осталось... рога, как говорят, да копыта, — грустно сказал он. — Думал, всю зиму с мясом буду, но так получилось... — Он рассказал как «получилось».

— Дурак ты, Толян.

— Дурнее не бывает, — согласился он, — такое мясо пораздавал. Она ведь не зря обгуляться не могла — зажирела: у ней все внутренности жиром заплыли, — Тимоха тяжело вздохнул, — что-то бы сделать с этим... — он кивнул на рога и копыта, — его же смолить нужно, а я сам не справлюсь. Тебя ждал. Я ведь чувствовал, что вот-вот появишься. Ну, так что делать будем?

— Наварим холодца. Тащи посуду для заливного, а я разожгу паяльную лампу: смолить будем рога и копыта. На всю зиму хватит, а собачкам кости.

— Я мигом, — повеселел Тимоха. Его радовала не так своя посветлевшая перспектива, как собачья.

Я смотрел ему вслед, бегущему трусцой по буранице, и думал: добрая ты, бестолковая душа. Корову профукал. Холодец сам сварить не можешь.

Но почему-то тянет меня на дачи, тянет к этой чистой, по-детски непосредственной душе.

Форс-мажор

Всему можно найти оправдание, особенно если шибко того хотеть. Спроси Тимоху — отчего это его сети зайцев ловят на пойме? Вода-то давно уже в берега вошла, а его сетки с ви-сящей дохлой рыбой так и красуются паутиной над зеленой травой.

— Не успел, — ответит, — только собрался — вода упала, да так, что лодкой не добраться, а пешком пока дойдешь, комарье до костей сожрет.

— Как же так, все успели сетки поснимать, а ты не успел?

— Видишьли, — почешет затылок, — шибко я до комарья чув-ствительный. Другие терпят, а у меня терпежу не хватает, меня до психу это кусачее племя доводит. У меня нервы слабые.

Чья бы корова мычала... По мне, так крепче нервов, чем у Тимохи, не бывает. Как-то зимой спросил у Тимохи морсу клюквенного. На клюкве, можно сказать, живет. Рядом бо-лото урожайное: брали нынче ягоду все кому не лень.

— Нету, — говорит, — у меня клюквы.

— Как же так?

— Только собрался — снег выпал, клюкву прикрыл.

— А раньше?

— Мошку пережидал... Нынче мошки шибко много было.

— Всякая вина тебе виновата... — уже не выдержал я.

Вот и с картошкой так же приключилось. Посадил Тимоха картошку. Участок небольшой, сотки две в самой середине его обширных земельных владений: каждый год трава да лебеда затягивает землю по периферии, отвоевая у Тимохи свое.

Пришла пора окучивать, а комарье, как нарочно, разыгралось люто и нещадно. Тимоха ждет, когда ветром обдует. А ветра нет и нет, и парит каждый день. Самая что ни на есть комариная погода. А тут и гнус выпарился. Просто тучами носится, не дает Тимохе нос высунуть. Такая погода растительности всякой в пользу: прет все, как на дрожжах. Картошка взялась тянуться, и лебеда рядом не отстаёт. Пырей да иван-чай тож свое берут. Земля-то слобренная еще старыми хозяевами, считай, что чернозем.

На одном квасе живет Тимоха. Попьет кваску и лежит под печкой. Зимой она греет, а сейчас прохладой одаривают кирпичи. По нужде приспичит: намажет то место, что оголять приходится, ширинку еще в избе расстегнет, чтобы время в нужнике не тратить да гнус не глотать, и бегом через двор, придерживая штаны руками. Через минуту уже несется обратно. Так ничего и не замечает вокруг.

— Пора бы картошку окучить, — советует забредший в избу сосед.

— Пожду чуть, может, ветром унесет гнус этот паршивый. Спасу от него нет.

— Прямо форс-мажор какой... — махнет рукой сосед.

А ветра все нет и нет. Июль уже последними днями исходит, а на дворе все по-прежнему.

Дрогнули железные нервы Тимохи. Решил не ждать милости от природы. Вооружился тяпкой, натянул доспехи противокмаринные... Вышел в огород, что витязь былинный... Но картошку уже не нашел. Заглушила ее лебеда, да иван-чай затянул огород розовой пеленой. Почесал Тимоха тыковку и в избу вернулся. Не было печали, так черти накачали. Остался без урожая. Говорят, нарыл пару ведер гороха с горем пополам, вот и вся картошка.

Нечаянное знакомство

Нынче весны не было. Еще лежал снег, а южный ветер принес тепло не по сезону. Теплый ветерок в считанные дни слизал остатки снега, быстро распустились листочки... и все! Лето! В наших краях такое бывает.

Лето, весна ли застали Тимоху врасплох. Пойма реки наполнилась водой быстро, и подготовиться к рыбалке он не успел. Ему все казалось, что есть в запасе еще пара недель. Народ уже на моторах выписывает, а он только сети решил перебрать. Сидит, значит, распутывает прошлогодние узлы. За зиму так и не удосужился подготовить снасти. А еще мотор нужно перебрать — приспичило. Не на веслах же рыбачить. Короче, забот — полон рот. Сидит Тимоха в избе, парится.

Сроки поджимают: рыбалка самая добычливая в начале. Язя охота поймать икряного, а не пустого, да засолить хоть пару ведерок. Спешит, значит, Тимоха, потеет.

Заваливают к нему в избу три парня. Молодые, ненашенские. Ну, зашли, что ж — гости. Отставил сетешки свои, чайник пошел ставить. Мужики молчат.

— Что стоите, как не родные? Зашли раз — проходите, чайку счас сварганим, — он даже обрадовался незваным гостям. Хоть передышку какую-то можно сделать.

Молчат мужики, из-под бровей смотрят на него.

— Может, что не так? — иронично заметил Тимоха, а сам уже напрягнулся. Один живет, не на кого обнадеживаться. Стал так, чтобы сзади никого не было. Чайник включил, а глаз с парней не сводит.

— Ты, мужик, здесь живешь? — спросил передний, и наверное, главный, вычислил Тимоха.

— Как видишь, — ответил Тимоха, осмотрев тех двоих, что стояли в дверях. «Хлипкие», — решил про себя.

— Ты наши сети мотором порезал, мы тебя вычислили.

— Плохо у тебя с арифметикой, парниша, — Тимоха глянул в упор. «Если что — этого первого», — мелькнуло.

— Провяз на три штуки тянет, так что шутки в сторону, мужик. — И те двое сделали шаг.

— Не понял.

— Шас поймешь...

Закончить фразу он не успел... На шум отреагировал Мальчик, заскреб дверь снаружи, грозно зарычал. Те двое сначала хотели дать деру, но на улице их ждал злой пес, и они решили сдаться на милость этому мужику. К тому времени очнулся и старший товарищ со спутанными так же руками. Рассадил их Тимоха в рядок на полу у двери.

— Не убивайте нас, — захлюпал нос у одного.

— Зачем же я буду брать грех на душу? Что ж вы, заходите в гости, ни здрасти вам, ни насрать. Я думал, гости как гости. Мне ж по-человечески погутарить охота. А вы... Чьи будете, откуда в наших краях? Браконьерите, значит?

— Мы из Лангепаса, порыбачить решили... — трусливо ответил старший.

— Документы есть?

— Водительские права в кармане, — он ткнул подбородком.

— Та-а-а-к... Лисов Юрий Сергеевич. Сергея, значит, машиниста сын? Понятно. Я батеньку твоего знаю. Работали вместе. Меня Анатолием Петровичем зовут, — а тебя как?

— Эдик.

Тихон перевел взгляд дальше.

— Толя, — выдавил из себя третий.

— Тезка, значит. Вот и познакомились. Чай пить будете?

Все дружно закивали. И Тимоха развязал им руки. Чайник уже дрожал, выпуская из себя тугой пар.

— Спасибо, Анатолий Петрович, — сказал Юра, принимая кружку из рук Тимохи. — Бате хоть не говорите.

— Да ладно, не скажу. Не бери в голову, пустяки... А ты, Эдик, слазь-ка в погреб. Там справа на полке смородиновое варенье. И помните, ребятки: здороваться нужно, когда в гости идете. А я еще сети свои даже не мочил и мотор пока не настропалил. Вы, поди, поперек протоки провяз поставили?

— Ну, да.

— Если бы я напоролся на вашу сеть, то еще отхлестал бы вичкой, чтоб не хулиганили. Кто же так ставит?

Тимоха смотрел на ребят, за обе щеки уплетавших варенье с деревянными пряниками неизвестного возраста, и думал: «Хорошо хоть ребята зашли, а то совсем тоска задавила. Чай некогда попить». И улыбнулся.

Женщина с биографией

Дом Тимохи стоит с краю, первым в ряду, и мимо никак не пройдешь.

На стук никто не ответил, и я открыл дверь. Несколько котов шархнулись из темноты в разные стороны, где-то с потолка, чуть ли не на голову свалился еще один. Я зажмурился и подумал, что все — галюники. Включил свет. Мне предстояло пережить еще одну неожиданность: такого порядка у Тимохи еще не бывало. К чему бы это? На окнах тюлевые занавески, шторы, на полу палас, правда, не мели в избе уже давненько. Портила вид неубранная посуда на столе. Ну конечно, в этом доме завелась женщина. Подаренный мною телевизор что-то вещал резвящимся котяткам. Значит, хозяин отлучился ненадолго. Усевшись в кресло, утомленный утренней охотой, я даже вздремнул под привычный шум телевизора и возню котят.

Когда засыпаешь легко и незаметно среди дня, повинуюсь внезапно налетевшей дреме, обычно происходит сшибка счета времени. И сейчас, проснувшись так же внезапно, как и уснул, я не сразу мог дать себе отчет, сколько же времени я находился в избе Тимохи. На столике уже прибрано и дымятся две кружки горячего чая в компании литровой банки малинового варенья.

— Я не стал тебя будить, — услышал я бархатистый голос хозяина, — прибрался пока, чайку вскипятил.

— Правильно сделал. Я так сладко вздремнул.

— Ничего себе вздремнул. Час храпишь, как паровоз.

Ага, значит, я уже битый час валяюсь тут, а мне еще картошку доставать из погреба для проращивания. Но глянул на чай, варенье, на Тимоху, усевшегося напротив, и мой трудовой порыв угас. Успеется.

— У тебя, никак, женщина завелась? — употребив именно этот глагол, я тогда еще не знал, как был близок истине. — Ну-ка, колись, старина.

— Не только женщина, тут и мандавошки заводились... — Тимоха хлебнул горячего чая, открыл рот, словно остужал язык. Он, действительно, не любил очень горячий чай. — Не знаю, как и рассказать.

— Как есть, так и говори, если, правда, информация не конфиденциальная.

— Да какая там конфиденциальность? Стучится зимой среди ночи кто-то в окно. Выхожу: баба стоит, шатается. Трясется вся от холода. На улице под тридцать. «Откуда, — спрашиваю, — красавица, в студеную зимнюю пору?» — «Из поезда вышла», — говорит. Я ее в избу впустил. Куда же ее среди ночи? Сгинет не за понюшку табака. Отогрелась у печки. Спиртику налил для сугреву. Она спиртик, как воду, лакнула, крикнула, как мужик, водичкой запила. «Нормально, —

думаю, — веселая девица». Присмотрелся: молодая вроде, не больше тридцати пяти, но виды повидавшая — губы не одиножды битые, под глазом шрам. Я ее на свое место под печку спать уложил. Сам на диване лег. Всю ночь проворочался, будь она не ладна. Оно ведь как: пока никого из женского полу тут не крутится, оно как-то забывается, притупляется, что ли. А тут... Ворочаюсь, сон не идет. Короче, как в том анекдоте: просыпается мужик, правой рукой пошарил — нет никого, левой пошарил — нет никого. «Ну, чего стоим? Кого ждем?» Гы-гы-гы, — наконец-то улыбнулся Тимоха. — Пошел среди ночи баню топить. Все равно не спится. А кому не спится в ночь глухую? Вору, разведчику и х... гы-гы-гы, — отпустил плоскую, старую, с бородой шутку Тимоха и прикурил после неперемного «с вашего позволения». — Утром говорю ей, — продолжал он, — «банька истоплена, можешь с дороги помыться» — и полотенце подаю, а она мне: «А ты что, не пойдешь?» — «Как же, говорю, я тоже...» А я же без малого год бабу голую не видел... Ну, короче, осталась она у меня, тем более что никто ее нигде не ждет и денег у нее ни копейки тоже нет. Куда ей? Ей воровски удалось залезть в вагон, но уже по дороге поймали «зайчишку». Проводница пригрозила, что сдаст в милицию на следующей узловой станции. Вот и выскочила на разъезде, чтоб в ментовку не загребли. Раньше уже попадала «легавым» в Москве, говорит, хором отметилили.

— Богатая биография, — не выдержал я.

— Не говори, — Тимоха не спеша отхлебнул чай, затянулся, медленно выпустил дым. — Тут такое дело приключилось, — Тимоха замялся. — Ну... как тебе сказать... Мандавошек от нее подцепил. Сначала ничего не понял. Раз почесал, потом снова. Заметил, что и она почесывает то же место. «Я, Толик, не успела предупредить... мандавошечки у меня...»

Не успела предупредить... Коза драная. «Мандавошечки» у нее... А может, и не успела... Я ведь как голодный набросился прямо в бане. Спину попросила потереть... зараза... Да наклонилась так, чертовка... Ну, короче, она действительно не успела даже слова сказать... Да и мне там не до диалогов было.

Тимоха долго тушил окурок, собирался с мыслями.

— Пришлось брить и себе, и ей все тама, мазь какую-то привез из города, керосином мазали. Короче, вывели. Я потом запаниковал: она же мне такой подарок могла преподнести, что всю жизнь на аптеку работать будешь. «А кроме этих насекомых пакостных, — спрашиваю, — больше ничего не привезла?» — «Нет, — говорит, — Толик, триперок как-то был — менты подарили, но я его вылечила». — «Триперок, мандавошечки...» Богатая, как ты говоришь, биография. «А носик всегда у тебя такой был или недавно закурносился? — начал я ее допытывать. «Всегда, — говорит, — я курносой была, не бойся. Меня из-за этого носика мальчишки шибко любили». Ну, да ладно... Я и успокоился. Пусть, думаю, живет.

— Ну, и где она твоя курносая?

— Два месяца у меня жила. Вроде и порядок навела, уютно даже стало в избе... Но не выдержал, договорился с проводником знакомым, дал ей денег, чтобы могла добраться до Перми, и отправил...

Наступила пауза. Что-то не договорил Тимоха, и я не стал торопить его.

— Понимаешь, пила, зараза, больше меня, а я такого женщине простить не могу. Все запасы спирта прикончила. И главное, втихаря... Я на рыбалку, а она по сусекам... Прихожу, а она снова навеселе. Все простить могу, но спирт воровать — это последнее дело. Так мало того, что отливает спирт, она же разводит его водой, чтоб я не заметил. А я разведен-

ный не люблю... Как-то хлебнул, аж стошнило... Спирт кончился, она водку стала выменивать на рыбу в вагонах ресторанов. Полную пайву рыбы спущу в ледник, смотрю через время — а там уже половина. А мадам у меня опять навеселе... Отправил. Снова не повезло. Та, вот, помнишь, из города приезжала в прошлом году? Тоже запойная... Прямо не знаю, что и делать? Да кто сюда поедет...

Он затянулся сигаретным дымом, задумался.

— Откуда у тебя котов целый выводок? — переменял я тему. — Давеча открыл дверь, чуть умом не тронулся: шарахнулись в разные стороны. Я уж думал — галюники.

— Кошка окотилась, а мне заказали котят. Я и оставил. Раньше-то я их только родятся — в ведро с водой. А эти уже подросли, жалко... А люди отказались... Куда их? Вот живут. Уже мышей ловят... — приободрился Тимоха.

Почему поют собаки

Как только Баксик попал к Тимохе, он своим собачьим умом смекнул: будет туго, придется покрутиться. И крутился, как мог. Во-первых, ладить с этим рыжим псом просто жизненно необходимо, его клыки уже оставили свои отметины на спине. Во-вторых, чтобы выжить, жрать нужно все, что дают, и, в третьих, необходимо извлекать свое преимущество, заключающееся в том, что ему позволено жить в избе, — это давало дополнительные шансы на выживание. И Баксик эти шансы использовал.

Сначала ему не очень-то нравилось, когда к его новому хозяину заваливались шумной толпой дурно пахнущие люди. Особенно невыносимым казался дым от курева. Баксик спасался, уткнувшись носом в угол или в дверь, откуда просачи-

вался свежий воздух. Эти люди пили противную, вонючую жидкость, запах которой он раньше улавливал от своего бывшего хозяина даже на следующий день. От нового хозяина пахнет так же, но он хоть не пинает его ногами и не кричит ему в ухо, как тот. От дурных запахов Баксик научился прятаться. Он знал заветную шелку в углу, о которой не догадывался больше никто, а еще его спасала неплотная дверь.

Винные запахи, табачный дым, с трудом переносимые чутким собачьим носом, развязывали языки сидящим за столом. Нарастающий застольный шум перерастал в страшный вой. Каждый старался выказать свои вокальные способности, и голосовые связки не жалели. Баксик прикрывал уши лапами, но безобразное блеяние пьяных мужиков не давало покоя, и не было от него спасения. Однажды Баксик не выдержал и завыл от отчаяния и навалившейся тоски. Был в тон поющим, заглушая их хриплые голоса. Песня внезапно оборвалась. Поющие ошалелыми глазами смотрели на пса-вокалиста, а тот был, подлаивая, и уже не замечал всеобщего внимания к себе.

— Смотри-ка, Тимоха, он же поет, — сказал кто-то.

— Он у меня всегда поет, — пьяно поддакнул Тимоха, — это я его научил. Да, Баксик?

Баксик прекратил выть и, услышав свое имя, поднялся на ноги и виновато опустил голову.

— Видишь, кивнул, значит, не вру. Он и слова понимает. Да, Баксик?

Баксик снова кивнул и подошел к Тимохе.

— Вот, видите?

И Тимоха угостил завилявшего хвостом пса вкуснейшей колбасой.

— Давай, Баксик, споем дуэтом. Эти засранцы не верят... гы, гы, гы! — Тимоха уже и сам уверился в том, что этот непонятной масти пес поет с ним чуть ли не каждый день.

Баксик, поняв, что хозяин в хорошем расположении духа, замотал хвостом и преданно посмотрел в глаза. Тимоха заголосил. Больно резануло по ушам, и Баксик завыл что есть мочи в тон хозяину, чтоб заглушить это безобразие. И тут случилось то, чего Бакс никак не ожидал. Все сидящие за столом стали его угощать всякими вкусностями. Такого успеха он и представить себе не мог в самом кошмарном сне.

— Держи, Бакс, заработал, — говорили они, нежно поглаживая обвисшие уши.

Теперь Баксик ждал гостей и с удовольствием пел вместе с Тимохой. Тимоха получал свое вознаграждение, Баксик — свое, а гости, которые стали чаще заходить, чтоб посмотреть на чудо, тоже оставались весьма удовлетворенными. За такой концерт ни колбасы, ни водки не жалко.

Как бы то ни было, эта зима давалась трудно. Денег у Тимохи совсем не водилось. Устроиться на сезонную работу не удалось. В самые морозы охотники наезжали совсем редко, а за весь февраль и вовсе не появилось ни души. К весне и тимохинские собаки, и он сам имели одичавший вид. Тимоху уже тошнило от картошки, ухи, вяленой рыбы и соленых огурцов. Баксику осточертела мороженная щука, которую он воровал у живущего на самом ручье рыбака. Один раз ему удалось снять зайца из петли, поставленной Тимохой, за что получил увесистый пинок. Успел бедный пес отгрызть только уши от замороженной тушки. Тимоха вытропил виновника по следам и примерно наказал.

* * *

Только схлынули морозы, я поехал на дачи. Сорока на хвосте принесла, что дорогу прочистили и можно машиной дое-

хоть до самого поселка. Обрадовался Тимоха моему приезду необыкновенно, и не только он. Не успел я переступить порог, как Баксик запел. Он так самозабвенно выл, гипнотизируя меня своими коричневыми глазами, что казалось, исполняет самую важную арию своей жизни. Я еще не знал о его новых талантах, но, видимо, поступил так же, как все те, кому он уже раньше исполнял свой небогатый репертуар.

— Он у тебя поет, — сказал я, обращаясь Тимохе, и угостил певца сосиской.

— Жрать захочешь — станцуешь, — Тимоха громко сглотнул слюну. И поведал о тяжелой голодной зиме.

— Собак жалко. На рыбе сидят, и то едят не досыта. Баксика как-то отпинал за зайца какого-то поганого. Сам потом чуть не заревел. С петли у меня снял. Я его по волоку вычислил. Так он убежать даже не мог. У него уже сил не стало, — Тимоха заморгал влажными глазами. — Денег нет. Я даже электроплитку включить не могу. За электроэнергию нечем заплатить. Виктора попросил пока не отключать. А то без света совсем одичаем.

— Сколько должен?

— Сто пятьдесят рублей. Вроде не много, но для меня и это деньги.

— Я дам тебе...

— Нет, нет... — запротестовал Тимоха, — мне нечем будет отдать.

— Слушай, Тимоха, у нас на работе сотрудница хочет твоего Баксика забрать. Во-первых, у тебя станет на один рот меньше, а во-вторых, за собаку положено хоть какую-то денежку заплатить. За электричество рассчитываешься.

— Что же это получается? Ты хочешь, чтобы я Баксика продал? Как ты можешь такое предлагать! — возмутился Тимоха.

— Не продать, дурья твоя башка, а отдать в хорошие руки. А денежку.. так положено, понимаешь.

— А-а-а! Ну, тогда ладно. А обижать его там не будут?

— Ну, что ты! Это добрейшей души люди. У них две дочери, так что вниманием Баксик не будет обделен, — с достаточной долей бравады выпалил я, не зная как реагировать на тимохинский вопрос.

Вот она, русская душа: сам с голодухи подышает, последнее собакам отдает. Радовался бы, что забирают пса — лишнюю глотку, а он: «Обижать его там не будут?»

Баксик прыгнул в открытую дверку машины и, деловито потоптавшись, улегся на заднее сиденье. А я-то соображал, как его туда заманить. Значит, машина ему знакома и никаких хлопот в дороге у меня с ним не будет. Растерянный Тимоха, вытирая глаза, казался осиротевшим.

— Чтоб не обижали его. Он умный... И пусть Баксиком останется, он уже привык... — голос Тимохи подрагивал.

— Ладно, хуже ему не будет. — И я сунул Тимохе в карман двести рублей. — А мне новые хозяева отдадут... Так положено, — еще раз повторил я, чтобы окончательно убедить Тимоху, что не продает он своего Баксика.

* * *

Уже потеплело, распустились листочки. Как-то утром я спешил на работу. Нудно моросил мелкий дождик, и в поле зрения, ограниченного зонтиком, попал спаниель: белый с рыжими пятнами — просто красавец. Рядом стояла женщина, прикрытая зонтом. И только поравнявшись, я узнал нашу сотрудницу.

— Здравствуйте, Нэлли Ивановна. Так это и есть Баксик?

Пес, услышав знакомое слово, подбежал к нам, прижался к хозяйке и плотно посмотрел мне в глаза, готовый вступить за свою благодетельницу.

— Красавец пес! Я даже не ожидал, что у него такая богатая масть, — удивился я.

— Так он у нас еще и поет, — сообщила Нэлли Ивановна радостно.

— Я знаю и даже слышал. Он пением на хлеб зарабатывал.

— Передайте Тимофею привет. И скажите, что его Баксика не обижают. И на рыбу он теперь даже смотреть не может.

Как потратить пенсию

Бывает же такое: ничего, ничего, а потом мно-о-о-го!

Безденежье заедало Тимоху хуже вшей. Куда ни кинься, везде денежка нужна. Соль и та денежку стоит. Про сахар Тимоха временами и не вспоминал. Когда народ на дачах крутится, еще как-то можно концы с концами сводить: кто в гости зайдет с бутылочкой да закуской, к кому сам забредет. А как зима морозная ступит на порожек, так месяцами на дачах ни души не сыщешь, как говорят, днем с огнем. Заметет все вокруг, сравняется снег с заборами. Тихо станет до жути. Вьюга иногда взвояет к вечеру, а как стихнет да на мороз повернется — стволы в лесу затрещат, будто смертушка ухнет. Лежит под печкой Тимоха, не шелохнется, старенький телевизор смотрит, да те немногие книжки, что на полке пылятся, по третьему кругу читает. Газету какую найдет под лавкой в холодных сенях, как за керосином или смольем полезет, радуется. От корки до корки позапрошлые новости запоем прочитывает, сравнивает с тем, что за время случилось. С

собаками беседует или кошке бубнит чо-то, а та мурлычет громко, на всю избу.

Приснился Тимохе сон, будто Зорька его большую кучу подложила прямо перед порогом. Было как-то такое в натуральном виде. Тогда у Тимохи руки все недоходили убраться, и каждый проходящий обязательно влетал в «капкан», неизменно матерился, а Тимоха только разводил руками, но лепешку не убирал. Так и вытаскали ее на обутках. И тут в том же месте, только на снегу. Присел Тимоха на корточки, руки греет над густым паром, как вдруг прямо из парящей лепешки вылетает, как черт из варежки, большой комар с голубя величиной и давай кружить, жужжать громко и натужно. Хоботком длинным, острым, словно шилом, норовит в глаз попасть. «Такой и через тулуп достанет», — испугался Тимоха и проснулся...

З-з-з... — противно зудел гигантский комар.

Звенел будильник.

Как только разлепились глаза, страшное видение пропало. Потянувшись, Тимоха включил ночник, втянул воздух и выдохнул паром, протянул руку, нащупал потрепанную книжонку. Сонник лежал на привычном месте. Сонник остался в память о той ночной гостье, одарившей Тимоху в прошлую зиму беспокойной живностью и словно взамен лишившей его запасов спирта. Тимоха открыл страницу на нужном слове. «К деньгам, значит. Пенсию никак начислили...» — решил Тимоха.

Уже больше полугода должна начисляться Тимохе пенсия, но никак не мог он собрать вовремя нужные справки, документы. «Видно, справки пришли. К деньгам сон-то...» — еще раз потешил себя Тимоха и вылез из-под стеганого ватного одеяла. «Сегодня же в город поеду. Комар — помеха... Как бы не помешало что...» — зародилась тревога, и тело пе-

редернуло от холода. Тимоха сэкономил дрова, пытаясь растянуть худосочную поленницу на всю зиму. В избе было зябко: обычно он до последнего лежал, пригревшись у печки.

Тимоха быстро нырнул в просторный свитер, растянутый когда-то пухлым телом. Теперь свитер обвис, как мешки под глазами. Он недовольно повел рукой по шершавому подбородку, глянул в помутневшее зеркальце. «Пенсию получу, расплачусь за электроэнергию...» — подумал он, втыкая вилку электрочайника в розетку. «...Новую бензопилу куплю... электрообогреватель», — мелькнуло в голове, когда подкидывал поленья в прожорливую печку. «...Мотоблок нужно купить. Хватит руками огород копать. К нему и окучник идет...» — подумалось, когда тупой нож непослушно сдирал кожу с мелкой картошки.

* * *

Конечно же, Тимохе приснился вещий сон. Сонник не врал. Количество денег соответствовало приснившейся тепловой куче на снегу. Столько денег Тимоха давно не держал в руках. Вместе с губернаторскими доплатами получилось без малого двадцать тысяч. Ошалевший Тимоха почесал вспотевший от волнения затылок, сел на холодную лавку перед магазином, предварительно смахнув выпавший за ночь снежок, и еще раз пересчитал деньги.

Ему не верилось, что все получилось так легко. Никаких проводов. Только паспорт Тимоха долго искал дрожащими руками. Девушка успокаивала его, мило улыбаясь, а он размашисто шарил по карманам, покрываясь крупнозернистым потом. Так он еще отродясь не потел. Комар-страшилище с огромным шилом зазудел в голове тракторным роко-

том. Сознание чуть не покинуло враз разлаженный крепкий организм. Вдруг рука наткнулась на знакомый кожаный переплет, и комар смолк, исчез.

Долго бродил Тимоха по рядам огромного магазина. Сначала как-то случайно он оказался в зале видеотехники. В три ряда множилось лица телеведущих. Он жадно вглядывался в экраны, прикидывал цены, прибавлял видеомагнитофон, но то, что нравилось, не укладывалось в сумму. Хотя варианты есть...

В другом зале Тимоха складывал в уме стоимость мотоблока и импортной бензопилы. На отечественную «Дружбу», сидевшую у него уже в печени, как выражался иногда Тимоха, даже смотреть не хотелось. Не получалось: три тысячи не хватало. Приплюсовал еще электрообогреватель, и дефицит вырос до пяти тысяч.

Ноги сами снова вынесли его к телевизорам, но усилием остатков воли он снова принудил себя перейти в зал бытовой техники, где снова оказался перед мотоблоком. Тимоха уже видел себя за плугом в белых перчатках. Плуг легко переворачивает пласты плодородной земли... Вот он уже окутывает картошку, легко управляясь с послушной машиной. Ему даже привиделись мешки с уродившейся картошкой. Тимоха тряхнул головой и уставился в цену. Остается не так много... Обмыть обнову, пенсию...

Так Тимоха переходил из одного зала в другой много раз: постоит перед телевизорами, пустит слюну, вдруг спохватится и быстро устремляется к нужной в хозяйстве сельхозмашине.

Не приходилось еще Тихону решать такие задачки. В голове зазвенело, как в пустом чугушке, в горле пересохло. Он зашел в буфет и заказал холодного пива.

Оставим Тимоху в буфете.

Оставим его в покое.

Ему предстоит трудный выбор.

Мне хотелось бы провести небольшой эксперимент: угадаешь ли ты, читатель, куда склонится чаша весов? Как выпутается из сложившейся сложной жизненной ситуации Тимоха? Мне-то проще — я уже знаю.

* * *

Недавно у Тимохи сгорела баня. В прошлом году сгорел ледник, а в позапрошлом году рухнула крыша коровника, построенного прежними хозяевами. Стены коровника сложены из непропитанной шпалы. Материал хороший для любого строительства, но некогда Тимохе прибрать шпалы, к делу пристроить.

— Тимоха, — спросит кто-нибудь, — дай пару шпал, на сарайку не хватает.

— Возьми, раз нужно, — Тимоха махнет рукой в сторону прохудившегося коровника.

— Тимоха, я возьму там у тебя досок.

— Возьми, не жалко. Все равно сгниют.

Так потихоньку разобрали у Тимохи коровник, и на его месте выросли роскошные лопухи и дородная крапива.

— Лопухи у тебя, Тимоха, знатные, — как-то сказал ему в шутку.

— Так они же лечебные. Я в твоём справочнике прочитал. Помнишь, ты мне дал?

— Помню, — улыбаюсь я.

— Так вот там написано, что от облысения корень применяется. Я голову мою. Вот смотри, — он снял шапку, — волосы выпадать перестали.

— У тебя и крапива растёт...

— Крапива она тоже лечебная... — продолжал он на полном серьезе и, только перехватив мое откровенное ржание, запнулся.

— Все у тебя в дело идет, — съехидничал я.

— Все в дело, гы-гы-гы, — и сам рассмеялся Тимоха.

Баня-то сгорела при странных обстоятельствах. Сам Тимоха был дома, но не заметил, как стихия изничтожила баню дотла. Соседи поливали Тимохин дом, чтобы не перекинулся огонь. Никто не знал, что Тимоха дома: дверь-то заперта. Он выполз с заспанными глазами, когда баня догорала.

— Что вы тут орете? — спросил он недовольно, распахнув дверь.

— У тебя баня сгорела. Мы тут битый час тушим, а он «чо орете», — сосед смачно выругался.

Народ разошелся, а Тимоха смотрел на еще догорающие угли с недоумением. Жалко: сегодня наметил попариться, а вот не придется.

А ледник сгорел еще в прошлом году. Вспыхнул сухим кедровым смолем от соседа. Тимоха заметил дым, валивший через щель из соседского гаража, примыкавшего к леднику. Бросился за ломом, выворотил гаражную дверь и выкатил соседскую машину, обжег руки, но соседскую машину спас. Пока возился с машиной, в гараже вспламенилось все, что там находилось, и огонь махом перелетел на ледник. Спасти свой ледник уже не хватило сил. Все случилось среди недели, и на дачах никого не было. Остался в ту зиму Тимоха без рыбы...

* * *

Вот и еще одна зима пролетела. Тянет на дачи, хочется увидеть Тимоху. Как же пройдешь мимо его избы. Стучу. Не

отвечает. Какие-то звуки долетают до моего обостренного здешней тишиной слуха. Значит, есть кто-то дома. Захожу в сени, перешагивая через валяющуюся разобранную старую бензопилу, раскиданные по полу запчасти лодочного мотора, рыбацкая сеть «ловит» ботинок. Хочется заматериться — чуть не упал на помойное ведро, запнулся о свой телевизор, когда-то отданный Тимохе. Вхожу в избу.

В углу стоит новенький, не дешевый телевизор. Видеомагнитофон крутит спящему на своем излюбленном месте Тимохе порнографический фильм. Тимоха, откинувшись на подушку, своим храпом пытается заглушить томные стоны раскачивающейся в такт грохочущему за окном поезду девицы.

Я не стал его будить.

Теперь мне понятно, почему Тимоха не заметил, как сгорела баня.

За окном несется товарняк с таким грохотом, что домик дрожит и раскачивается, вся изба заполнилась стонами девицы, набирающей обороты под металлический стук колес. Искаженное лицо юноши, редко мелькающее на экране, уже не подает признаков жизни.

В избе жарко: работает новый электрообогреватель, одеяло сползло на пол. Я отметил, что Тимоха снова начал округляться. Ленивая рука, держащая пульт управления, в такт дыханию то поднимается, то опускается на подающем надежды животе.

Тимоха храпит, заглушая девицу и товарняк.

Вольная жизнь Тимохи продолжается...

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе. <i>Н.А. Смахов</i> • 5	
Осень • 8	
Боль • 31	
Крестный ход • 48	
Вечные странники • 64	
Схватка • 73	
Выстраданная победа • 93	
Расстрел • 103	
Наука • 110	
Сюрприз • 116	
Сплошная невезуха • 127	
Одна беда не ходит • 136	
Скока можна... • 152	
Вольная жизнь невольника Тимохи • 157	
<i>Хорошо ли живется Тимохе</i> • 157	
<i>Почему ревет телка</i> • 166	
<i>Форс-мажор</i> • 171	
<i>Нечаянное знакомство</i> • 173	
<i>Женищина с биографией</i> • 175	
<i>Почему поют собаки</i> • 179	
<i>Как потратить пенсию</i> • 184	

Михайловский В.Л.

М69 Северные ветры: Рассказы. Кн. 2. — Екатеринбург: Сред.-Урал.
кн. изд-во, 2005. — 192 с.: ил.

ISBN 5-7529-0773-X

В книгу нижевартовского прозаика включены рассказы, написанные в разные годы.

ББК 84Р7

Тиражом предусмотрено 100 экземпляров, пронумерованных от руки.

Экземпляр № _____

Михайловский Валерий Леонидович

СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ

Рассказы

Художник Ю.А. Бычков

Редактор Е.В. Черняк

Корректор М.Ф. Худякова

Компьютерная верстка А.Ф. Агзамов

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 06534,
выдана 16.01.2002 г.

Подписано в печать 10.02.2005. Формат 70х100 ¹/₃₂.

Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,74. Уч.-изд. л. 6,94.

Тираж экз 1000. Заказ 731.

ОАО «Средне-Уральское книжное издательство»,
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 24

Отпечатано на ФГУИПП «Зауралье»,
640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.



Екатеринбург
Средне-Уральское книжное издательство
2005